

[Polaris]

В. П. ЖЕЛИХОВСКАЯ



МАЙЯ

Русский оккультный роман

Том VI

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СХС



Salamandra P.V.V.

**ВЕРА
ЖЕЛИХОВСКАЯ**

МАЙЯ

Фантастическая повесть

**Русский оккультный роман
Том VI**

Salamandra P.V.V.

Желиховская В. П.

Майя: Фантастическая повесть (Русский оккультный роман. Том VI). Подг. текста и комм. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. — 180 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. СХС).

В книге известной писательницы В. П. Желиховской, младшей сестры основательницы Теософского общества Е. П. Блаватской, представлено первое за более чем 100 лет переиздание фантастической повести «Майя» — теософского «романа воспитания» и истории борьбы «Белого» и «Черного» братств за душу девушки. В приложении — фантастические рассказы «Видение в кристалле», «Ночь всепрощения и мира» и «Из стран полярных».

От издательства

Начиная с данного тома, в подсерию «Русский оккультный роман» будут также включены некоторые произведения крупной формы, означенные авторами как «повести». Надеемся, что читатели не будут на нас в обиде за это нарушение чистоты жанровых определений — тем более что заглавие подсерии во многом мыслилось и понималось нами и как «роман с оккультизмом», то есть как отражение определенного культурного явления.

Salamandra P.V.V.

МАЙЯ

Фантастическая
повесть

Родители Франца Ринарди были космополиты, но сам он, как это часто бывает, родившись и служа в России, считал себя русским. До сорока лет он жил в Петербурге, где между товарищами-профессорами и немногими знакомыми приобрел репутацию чудака и мистика. Раз летом был он на Иматре, съездил к родственникам в имение да там и влюбился в красивую, болезненную девушку и совершенно неожиданно для самого себя возвратился женатым. Семейной жизнью, однако, профессор пользовался недолго; через год жена его родила дочь, а недель через шесть умерла без всякой определенной болезни. Ринарди чуть с ума не сошел. Он заперся, бросил службу, ударился в спиритизм, только что ввезенный в Россию Юмом, иностранный продукт мистицизма; жизнь свою наполнил материалистическими проявлениями духовного мира.

Первые два-три года вдовства Ринарди жил лишь благодаря общению с умершей женою. Не будь этих общений письменных, а порою и видимых ее явлений, укреплявших в нем убеждение в необходимости жить ради вечного единения душ их в будущей жизни, он с первых же дней наложил бы на себя руки. С течением времени он успокоился. Она успела внушить ему также убеждение в плодотворности занятий научных; вселить в него охоту вновь взяться за свое старое дело, обещавшее привести его к величайшим результатам, к открытию сокровенной доныне, великой силы природы. Повинуясь ее воле, ее внушению, он предался изучениям и опытам и скоро забыл весь мир в своей лаборатории.

Раз ночью, когда он не спал, а лежал, думая о *ней*, ожидая ее появления, он услышал возле себя движение, почувствовал дуновение воздуха на лице своем, — верный признак ее присутствия; но в полусумраке ясной ночи видение не появлялось... В тревоге поднялся Ринарди, сел и всматривался в тоске напрасного ожидания.

Вдруг словно долгий вздох пронесся по длинной анфиладе прадедовских покоев, и из залы, где стоял рояль покойной жены Ринарди, раздался тихий, созвучный аккорд...

Ринарди вскочил, простирая руки туда, к дверям, готовый броситься ей навстречу... В ушах его раздался знакомый шепот:

— Франц! Я здесь, я всегда возле вас, — говорил он. — Но больше ты меня не увидишь... Моя грубая оболочка все дальше от меня уходит!.. Мне все труднее, милый мой, даже для тебя, привлекать и соединять ее распадающиеся начала... Я не могу их долее удержать, а ты меня не можешь долее видеть своим человеческим зрением. Быть может, вскоре перестанешь и слышать, но не горюй! Не горюй, милый мой: между тобою и мною звено... Ты скоро убедишься, что мы неразлучны...

Голос замер, последние слова Ринарди едва уловил. И он почти без памяти упал на кровать.

Утром он встал, как опьянелый. Он сел за письменный стол, но не мог сосредоточить мыслей. К нему привели его трехлетнюю дочь, бледного белокурого ребенка с задумчивыми, широко открытыми, черными глазами, как у ее покойной матери. Девочка уж порядочно лепетала на двух языках, но отец мало ею занимался. В это утро он едва на нее взглянул. Ему тяжело было ее видеть!

Няня увела ребенка в сад.

Дом, где жили они теперь, в родовом имении покойной жены профессора, был старинный, каменный. Ринарди безвыездно поселился в этой деревне.

Время было летнее, окна и широкие стеклянные двери в смежной гостиной были открыты в сад; из цветника веяло резедой и левкоем, доносилось чириканье птиц, порою жужжание пчел, подлетающих к окнам, увитым зеленью; не слышалось только людских голосов, ребячьего смеха и лепета. Няня-швейцарка была погружена в чтение; маленькая русская служанка, приставленная к барышне для забавы, болтала в стороне, у калитки, с горничной. Девочка сидела одна на нижней ступеньке крыльца, смотрела кругом вдумчивым взглядом, иногда улыбалась сама себе, бор-

мотала что-то неслышное и снова задумывалась, будто к чему-то прислушиваясь... Вдруг она встала и побрела к пестрым грядкам.

А Ринарди по-прежнему сидел у своего стола, не зная, что делать и за что приняться. Он сам не знал, сколько времени прошло так. Вдруг он встрепнулся. Милый детский голосок заставил его обернуться к двери. Там стояла его маленькая дочь и, улыбаясь, глядя вверх, как смотрят дети в лица возле них стоящих взрослых людей, говорила:

— Ему?.. Папà?.. Хорошо! Я дам.

Она быстро засеменила ножками и, поравнявшись с его креслом, сказала, подавая ему крепко зажатый в ручонке белый нарцисс:

— Бери!.. Мама дала...

Ринарди вскочил.

— Мама дала!.. Мама?!.. Где мама? — шептал он побелевшими губами.

— Вот мама! — просто отвечала девочка и, смеясь, указывала ему на дверь.

Секунду профессор колебался, шатаясь, едва держась на ногах: потом сделал два-три шага к дверям, потом вернулся, весь дрожа, схватил ребенка на руки и, как безумный, прижимая его к груди своей, повторял:

— Мама! Твоя?.. *Наша* мама!.. Ты ее видишь?

— Маму? Да!.. Вот она... Она всегда с Майей!.. Майя ее любит!

Она устранилась от плеча его и будто прилегла рядом к другой родной груди, соединяя их обоих в одной ласке.

Испуг и недоумение растаяли в блаженную улыбку на лице ее отца; радостные слезы полились из глаз его, устремленных благодарно на нее, — на это *видимое* и ему звено, соединявшее его с *невидимой*, с единственной любовью, ненадолго озарившей жизнь его счастьем.

С тех пор Ринарди стал почти неразлучен с своей маленькой девочкой. Он занимался в лаборатории, когда она спала; работал целые ночи напролет, чтоб иметь днем время быть с нею. Он уносил свою Майю в сад, в лес, в поле, чтобы не выдать их тайны, чтоб свободно прислушиваться

к лепету дочери, к тому, что дочь, в блаженном неведении, передавала ему о ней и *от* нее...

Но долго так продолжаться не могло. Необычайные способности ребенка не могли оставаться тайной для других, — они слишком искренне, слишком часто и явно проявлялись во всем и со всеми; а общее неведение, слепота и глухота всех к тому, что ее духовному слуху и зрению было открыто, не могли ей, наконец, не открыться... Марья или Майя, как называли ее близкие, с тех пор как первый детский лепет ее окрестил ее этим именем, скоро поняла, что есть в ней что-то особое, что дивит и пугает людей. Она стала их сторониться, скрывать свои мысли, полюбила одиночество и в пять-шесть лет сделалась совсем дикаркой. Даже с отцом она не любила говорить *обо всем*, что ее занимало. Даже он часто не понимал ее, не всегда мог сдержать удивление, скрыть невольное недоверие к ее рассказам.

Позже Майя хоть свыклась с необходимостью осторожно разговаривать с людьми, но перестала их бояться. Она только смотрела на них с недоумением, печально удивляясь их слепоте, лишь усмехаясь в ответ на соболезнования о ненормальности ее жизни в этой глухой деревне, о ее полном одиночестве... *Одиночестве!*.. Ей было смешно слышать это бессмысленное слово! Ей жаль было обездоленных людей, слепцов, не понимавших, что нет в переполненной жизнью природе одиночества, как нет и смерти у Живого Бога живых!

II

Майя никогда правильно не училась, потому что учителя, а в особенности наставницы редко уживались более нескольких месяцев «при этой безумной девочке, в этом заколдованном доме». Так аттестовало все соседство имение, где жили Ринарди, и его будущую владелицу. Напоследок никто туда и ехать не хотел; да по правде сказать, с четырнадцатилетнего возраста Майи об ее образовании и думать

перестали. Кому оно было нужно?.. Отец находил и без учения в ней бездну премудрости; сама она не видела никакой нужды учиться для общества, для света, которых она не знала и не хотела узнавать; для самой же себя она много и неутомимо училась с учителями, ей одной ведомыми... Кто бы они ни были, эти учителя, но ученица их преуспевала в науках, о существовании которых не подозревают обыкновенно девушки. Впрочем, она и сама вряд ли подозревала, что их знает, а уж об именах их положительно не имела понятий. Так, как-то, знания сами собой приходили; точно так же, как и таланты: музыка, живопись, — все ей далось; но не так, как другим, не по правилам, а как-то сразу, неожиданными наплывами, словно с неба валилось или кто-либо умелый ловко и смело водил ее руками по клавишам, по рисунку. Нот она почти не знала и редко играла вещи, которые кто-либо мог признать за музыку, положенную кем-либо на ноты или когда-либо слышанную; а между тем, ей не было еще шестнадцати лет, когда ее игрой заслушивались знатоки.

Точно то же было и с ее живописью. Она никогда рисовать не училась, а никто не мог бы этому верить, глядя на мастерские эскизы ее цветов, видов, необыкновенных растений и еще более необыкновенных созданий. С десяти лет Майя начала испещрять альбомы рисунками идеальных или чудовищных форм, напоминавших мифологии всех стран, верования и сказания всех народов.

— Откуда у вас берутся такие дикие фантазии? — спросила ее раз вновь поступившая гувернантка.

— Как откуда? — засмеялась Майя. — Да я таких всюду вижу: я списываю с натуры!.. Вот эта прелестная девчонка-мотылек — с тех пор, как я себя помню, каждый день прилетает ко мне... Мы и сегодня, пока вы заперлись в своей комнате, летали с нею по всему парку, высоко! Выше деревьев и через речку... А вот эту змею с высунутым жалом, с козлиными рогами на лбу, я видела вчера обвитой вокруг вас... Право!.. Да вы не бойтесь. Они везде живут, эти чудовища и разные уродцы, полужвери, полудухи, полулюди, — кто их знает?.. Я и сама иногда не разберу! Но зло

они только тем могут сделать, кто их приголубит, — кто сам полюбит их и с ними нянчится...

Гувернантка смотрела на нее в недоумении и ужасе.

— Вы бредите! Или сочиняете сказки? — бормотала она.

— Не брежу и не сочиняю, — спокойно возразила девочка. — Я вам скажу, что такое эти гады и смешные уродцы, которые толпятся между людьми: это наши пороки! наши дурные чувства и желания!.. Ничто не проходит бесследно в природе: все наши мысли даже летают вокруг нас; но не все видят их, как я, — я знаю!.. Прежде я думала, что другие нарочно скрывают это...

— Несчастная девочка! — испуганно прервала ее гувернантка. — Лучше бы вы скрывали свои галлюцинации! Вы больны! вам надо лечиться!

— Нет, я здорова, но все остальные люди ненормальны. Они не сохранили духовного зрения, которое прежде было у всех, а теперь редко кому достается... Я с ним родилась! — вздохнула Майя.

— Боже милостивый! Да откуда вы все это берете?.. Эти фантазии! Эти слова... Кто научил вас всему этому?

— Кассиний! — просто отвечала девочка.

— Кассиний?.. Кто такой Кассиний? — изумилась наставница. — Я не видала его. Кто он? Учитель?

— Учитель! Великий учитель, — не такой, как другие. Но и его никто не увидит, кроме меня, пока он сам того не захочет. Вот он, возле меня... Что?

Майя вдруг подняла голову, будто вслушиваясь, и рассмеялась. Гувернантка отступила в страхе.

— Да не бойтесь же!.. — вскричала Майя. — Я смеюсь от того, что он сказал мне сейчас... Он увидел, что вы о нем подумали: «Надо его удалить! Надо сказать отцу ее, чтоб он его прогнал!» А его нельзя прогнать! Скорее все меня оставят, все уйдут, но не он!

«Да! уж я-то непременно уйду!» — подумала гувернантка и в ту же секунду еще решительней утвердилась в этом намерении, потому что Майя, не отрываясь от рисования, за которое вновь принялась, опять рассмеялась и сказала:

— Н, и Бог с вами! Я знаю, что возле меня жить долго учителя и гувернантки не могут. Кассиний говорит, что они мне не нужны, что сам он всему меня научит.

И точно, не с руки было наставникам учить такую ученицу. Отец ее, наконец, сам убедился в том и предоставил ей полную свободу. Вскоре он даже уверился, что не ее надо учить, а у нее учиться многому: необычайные духовные силы и дарования дочери часто указывали ему пути и средства, когда собственных знаний ему недоставало... Когда он начинал сбиваться в пониманьи на том скользком рубеже, где кончается область положительных наук и ученый волей-неволей должен переступить грань, отделяющую мир материальный от тех духовных, высших сфер, где созревают мировые законы природы, — *переступить* ее или малодушно *отступить* и отказаться от предприятия, — тогда Ринарди прибегал к ее помощи. Ясновидящая или сама определяла ему суть вещей, определяла пассивно, с помощью описаний картин, которые «*видела*», чертежей, которых значения сама не понимала, вычислений, — которые опять-таки «*списывала*», видя их перед собою, а сама иногда и прочесть не умела! Или же просила времени для ответа и приносила его от лица своего «*Белого брата*», своего «*учителя*», — устно или письменно, смотря по сложности вопроса.

Кто был этот таинственный учитель?

Наверное никто, ни даже профессор, ни даже сама Майя того не знали. Но все в доме давно привыкли к его имени, к его влиянию.

Майе было семь лет, когда она тяжело заболела. Болезнь, по определению выписанных из столицы лучших врачей, была смертельна; о выздоровлении не могло быть и помысла: жизнь ребенка была лишь вопросом времени...

Когда приговор этот состоялся, Ринарди почувствовал, что почва вырвана из-под ног его; что он падает, летит в какую-то бездонную, беспросветную бездну... Последней сознательной мыслью его было: «Только бы не сумасшествие! О, если б умереть!» Затем он ничего ясно не помнил: что он делал, где был несколько времени? Часы прошли

или минуты? он не знал. Он очнулся среди глубокой ночи, в своем кресле у письменного стола. Часы, стучавшие перед ним в ярком свете лампы, прикрытой от него темным абажуром, показали ему час... Он ли, другой ли зажег лампу и перед ним поставил, — он не знал. Очнувшись, Ринарди бесцельно смотрел перед собою на знакомые предметы, на стол, на свои бумаги, на светлый круг, отбрасываемый лампой, ничего еще определенного не сознавая, кроме тупой боли, сжимавшей сердце его, как в тисках.

«Да! — вспомнил он, — надо идти! Майя умирает!»

И он поднялся. Но в эту минуту глаза его упали на две строки, крупным, четким почерком написанные вкось на белом листе бумаги, в районе яркого света под лампой:

«Не верь. Она будет жива!.. Ее жизнь нужна не одному тебе... На радость иль на горе — но жить она должна».

Весь дрожа от волнения, профессор пригнулся к этим странным, сулившим ему спасение строкам и перечитывал их с биением сердца, с все возрастающим восторгом, пока слезы счастья не затуманили его зрения. Тогда он оторвал этот уголок бумаги с надписью, спрятал его на груди своей и неверными шагами, опьяненный радостью, не смея еще ей вполне верить, прокрался в комнату дочери.

Майя спала, спокойно дыша; возле нее дремала няня.

Ринарди отослал няню спать, сказав, что сам посидит возле больной, и сел с намерением не смыкать глаз, но не успел опомниться, как уже крепко заснул.

Он проснулся утром от луча солнца, блеснувшего ему из-за шторы окна, вздрогнул и устремил испуганный взгляд на дочь. Она сидела в своей кровати, играя свежими, только что нарванными цветами, переглядываясь с кем-то, кому-то улыбаясь.

— Папа! Иди сюда! — смеясь, позвала Майя.— Вот *Белый брат* говорит, что ты ленивый! Проспал такое славное утро... А он давно принес мне цветов и говорит, что я скоро буду здорова и сама буду рвать их.

С той поры Белый брат, «*учитель*» стал неразлучным спутником дочери профессора. Она рассказывала о нем отцу, описывала его; говорила, что он «такой же человек, как

и все, только очень добрый и очень умный».

— Спроси его, дитя мое, — сказал ей раз отец, когда Майя была уж совсем здорова, — он ли утешил меня, сказав, что ты будешь жива, написав вот это?

И профессор вынул из записной книжки никогда не покидавший его обрывок бумаги. Но прямого ответа не получил.

— Кассиний говорит, что тебе это должно быть все равно, кто бы ни написал! — отвечала девочка.

III

Под влиянием своего таинственного друга и благодаря чудесам природы, ей доступным, Майя стала развиваться не по дням, а по часам. Вскоре поняла она вещи гораздо более сложные. Кассиний сумел внушить ей убеждение, что незачем рассказывать без нужды о необыкновенных ее дарованиях; нехорошо, даже опасно величаться ими и хвастаться ради забавы; но также нет причины ей унывать, смущаться своим ясновидением, задумываться над собой, как над загадкой.

«В мире ничего нет сверхъестественного! — внушал он ей. — Это пустое, бессмысленное слово... Все естественно, — но не всем все доступно. Не всем дано знать, тем менее овладевать тайнами природы. Мало видящих и слышащих, но блаженны одаренные духовным оком и слухом, если они не злоупотребляют своими великими дарами».

Вскоре после выздоровления маленькой барышни, няня ее вбежала раз к профессору бледная, перепуганная, крича, что барышня ее пропала.

Ринарди вышел к ней встревоженный. Хоть он и привык ко всевозможным чудесам, случавшимся с его дочерью, но няня была слишком уж взволнована... Оказывалось из слов ее, что они гуляли в роще, что Майя рвала цветы, собирала еловые шишки и вдруг скрылась с глаз. Няня звала

ее, искала, кричала, расспрашивала всех встречающих, — но все напрасно: Майи нигде не было!

— Да где ж это случилось? И давно ли? Веди меня туда! — сказал профессор.

— Да на березовой полянке, барин, — отвечала няня. — С час времени будет.

— Однако! Целый час? — встревожился отец. — Пойдем!

И он схватил шляпу... Но далеко ходить ему не пришлось, не миновали они цветника, как Майя, веселая, румяная, стукнула калиткой сада и бежала им навстречу.

— Девочка моя! Куда ты пропадала? — закричал ей обрадованный отец.

— Ах! Папа! — бросилась она ему на шею, — как было весело! чудесно!.. Я...

Она вдруг смолкла, взяла отца за руку и потянула его в сторону.

— Лучше я одному тебе скажу, папочка, а то няня всегда говорит, что я лгу, а лгать, ты знаешь, очень стыдно! — надув губки, говорила Майя. — Послушай!

Она заставила отца нагнуться к себе и прошептала ему на ухо:

— Мы летали!

— Что?!.. — изумленно воскликнул Ринарди.

Майя повторила еще более явственным шепотом:

— Мы ле-та-ли!

— Кто?! Неужели Кассиний?..

Девочка расхохоталась громко.

— Что ты, папа, Бог с тобой!.. Такой большой! Серьезный! Важный!.. Нет. Он только смотрел на нас и, правда, когда надо было мне с Селией подниматься, он немножко прикрыл меня собою, чтоб няня не увидела меня на воздухе и не испугалась... Только сначала! как только мы очутились между ветвями деревьев, няня уж не могла догадаться, что надо поднять голову, а не искать меня в кустах! — смеясь, рассказывала девочка, увлекая отца в его кабинет, подальше от чужого слуха.

Там она взгромоздилась, по обыкновению, ему на колена, в его прадедовское кресло и с увлечением продол-

жала рассказывать, как хорошо летать! Носиться в воздухе легко и свободно по ветру, рядом с облаками, парить над землей, глядя вниз на деревушки, города и бедных людей, таких черных, маленьких, как муравьи...

Ринарди слушал, как во сне.

— Дитя мое! — наконец очнулся он. — Уверена ли ты в том, что говоришь? Не уснула ли ты в лесу и не приснилось ли тебе все это?

— Ну, вот и ты, папа, не веришь мне! — горестно вскричала Майя. — Ах! Что же мне делать?.. Неужели и тебе нельзя рассказывать!..

— О, нет! Нет, дитя мое. Рассказывай мне все, все, что с тобою случается. Я верю тебе! Прости меня, милочка. Ты понимаешь, что трудно привыкнуть...

— Да! Я знаю, что люди — рабы своих духовно неразвитых чувств! — вздохнула Майя.

— Рабы — чего? — изумился профессор.

— Своих неразвитых чувств! — повторил ребенок совершенно сознательно. — Так всегда говорит Кассиний.

«О, Господи! Что выйдет из этой девочки через десять лет?» — с невольным страхом подумал отец.

— Няня никогда не видала Селии? — спросил он.

— Н-нет! — обиженным голосом решительно отвечала Майя. — Ни Селии, ни Кассиния! Как она может?.. Ведь у нее нет всех глаз, она, как все другие люди, ничего не видит. Ни их, ни того, кого они за собой спрячут, — вот, как меня сегодня закрыл Кассиний! Ничего, ничего решительно *такого*... Кроме вот простых, *твердых* вещей, которые можно взять в руки...

И Майя презрительно тыкала пальчиком в стол, в стулья.

— Ты, папочка, гораздо больше видишь! — убежденно прибавила она. — Кассиний говорит, что это у нас в семье: что мама была такая же, как я, и что ты сам, когда был маленький, много мог видеть... только забыл!..

— В самом деле?.. быть может! — задумчиво проговорил Ринарди.

— Да, да! Наверное! — подтвердила Майя. — И знаешь...

Она подошла к нему ближе и таинственно прошептала:
— Если ты будешь работать, по-прежнему слушаясь его,
— он говорит, что твои глаза и уши могут снова открыться...

— Кассиний сказал это? — вскричал Ринарди.

Майя утвердительно кивнула головой.

Отец поднял и прижал ее к своей груди:

— О! Дай Бог, чтобы это была правда!

И точно: с течением лет обещанию Майи суждено было сбываться все шире и определенной. По мере того, как научные занятия профессора Ринарди шли вперед, медленно, но постоянно преуспевая, духовные способности его развивались сильнее, и ему открывались дотоле неведомые, необъятные горизонты... Средства и силы его умножались и крепили по мере того, как задача его расширялась; но зато и достижение желанных целей уходило все дальше, со всяким днем, казалось, становилось неуловимей. Беспрерывно увлекаемый удачей то в одной, то в другой подробности, он то и дело отвлекался от главной задачи; заинтересованный, как истинный идеалист, влюбленный в силу знания, а не в успех его практических приложений, он гнался за частными явлениями, а их было столько, что целого он никак не успевал охватить. А время между тем убегало; другие, более практичные изыскатели не дремали: Эдисон с многочисленной плеядой своих предшественников и последователей то и дело предвосхищали его замыслы. Судьба словно дразнила его надеждой, в самую минуту ее исполнения вдруг вырывая у него конечный успех, чтобы им потешить других. Но это не отымало у него бодрости, напротив: частные и, как ему казалось, неудовлетворительные успехи сил электричества, применений телефона, фонографа и прочих изобретений нашего плодovitого века еще сильнее разжигали его стремления полнее приложить их ко благу человечества, упрочить применение их, развить их действия до возможного совершенства.

Ему все хотелось довести каждый открывавшийся ему проблеск до полного, яркого, всестороннего света, а не трагичать искр по мелочам.

— Все это добрые лучи! — говорил он. — Они ослепят каждого работника во мраке нашего неведения, именуемого наукой, но не облагодетельствуют мира, как облагодетельствовало бы его открытие *источника* всемирной силы, света неугасимого, — великой души вселенной, коей все движется, и все держится, и все живет!..

— Ринарди разыскивает *начало начал! Animus mundi*, — великую причину бытия — не только постичь, но и полонить желает! — смеялись немногие, сохранившие сношения с чудачком или память о нем.

Другие решили прощсе:

— Да, бедняга рехнулся!.. Ум за разум зашел! Но всего печальнее, что он и дочь свою с ума свел!

— Ну, с этим можно и не согласиться! — протестовали знавшие дело ближе. — Скорее она отца с ума сводит. Эта несчастная девушка окончательно безумная!.. Она вечно окружена какими-то духами, оборотнями, кикиморами... Воспитана каким-то невидимкой-колдуном или домовым! Летаёт на какие-то шабаши... Совсем самодурка юродивая!

— Просто бедная, больная девочка! — заключали наиболее милосердные.

Поистине, Майя была окружена чудесами, которые не могли не возбудить недоверия и подозрения или в искренности ее, или в здравости ее ума. До пятнадцати-шестнадцати лет не было границ волшебным проявлениям ее существования и, казалось, не было им определенной цели, кроме ее потехи. К чему были эти общения с загадочными существами не нашего, плотского мира? Русалки, дриады, саламандры и сильфы, ей одной видимые и слышные, не давали никаких указаний по этим предметами да и, вообще, никаких полезных сведений никогда не сообщали, если не считать таковым убеждение в их собственном существовании.

Кассиний — другое дело! Майя имела полное право его называть своим учителем. Чем старше становилась она, тем серьезнее становились и их занятия. Те долгие часы, которые, по всеобщему убеждению, она отдавала уединенным прогулкам, были посвящены беседам с Белым братом;

а с десятилетнего возраста ее он начал требовать, чтоб его ученица не только записывала то, что он ей рассказывал, но и свои *сновидения*, те из них, которые ей покажутся занимательны. И, странное дело! Майя скоро начала замечать удивительное согласование между теми и другими. Будто сны ее служили дополнениями, иллюстрациями к его рассказам. Она спросила его: «Почему это?..» Кассиний на вопрос отвечал вопросом: «Разве это ей не нравится?» — «Почему же! Напротив, очень нравится! Но... странно. Почему это?» — настаивала Майя.

Но на все свои вопросы она только получила в ответ просьбу воздерживаться от праздного любопытства и раз навсегда забыть такие слова, лишённые значения, как *странность*, *чудеса*, *сверхъестественность* и им подобные доказательства людской несостоятельности.

IV

В день первого ее совершеннолетия, шестнадцати лет, таинственный наставник Майи впервые сказал ей, что их общения имеют, «как и все в природе, каждый факт в жизни людей», — свои определенные цель и значение.

— В чем они заключаются, тебе еще рано знать! — говорил он. — Могу только сообщить тебе, что они велики и благотворны и для тебя, и для всего человечества! Будь строга к себе и внимательна ко всему, что я отныне буду тебе сообщать. Если желаешь достигнуть возможных людям совершенства и знания, если хочешь искренне добра и пользы своим ближним, как то повелевает воля Творца вселенной, — забудь себя!

Ты ведь знаешь, дитя мое, — говорил он ей в другой раз, — что все двойственно в природе: свет и темь, добро и зло, истина и ложь, любовь и ненависть враждуют искони, и искони последние в ней торжествуют, а первые терпят гонения и, большей частью, должны скрываться, чтоб не пасть жертвами злобы невежественных людей, а им же при-

носить пользу. В былые, давние времена, наше Белое братство царило и сеяло истину во всем мире, невозбранно посвящая избранных, умевших доказать свою правоспособность неустанной преданностью святым его задачам, полным самоотречением от мирских, обманных благ, в познание высших таинств, высших знаний и сил. Письменам редко вверялись эти таинства и мудрость, а больше передавались изустно посвященными — неофиту...

Такие Избранные, «хранители истины в духе», существовали и ныне, — утверждал Кассиний, — но втайне, чтоб избежать безумных гонений невежд, требующих идолов и знамений, слепой толпы, всегда готовой стать под знамена злобы и мрака, — *«Черного братства»*, — их вековых врагов.

Сами по себе эти несчастные поборники темных сил природы — против нас бессильны! — заключил Кассиний свою речь. — Мы не боимся их за себя, но боимся за человечество, которое губит себя, веря их лживым внушениям, входя в соблазн и грех, преследуя поборников истины...

С годами, Майя была увлечена появлением ей новых, чудных созданий. С виду обыкновенные, красивые, веселые юноши и девушки, они являлись перед ней на прогулках; преграждали ей путь, словно ее не замечая; носились по лесным тропам, водили воздушные хороводы на цветущих полянах, плескались в светлом озере, маня ее к себе, и не раз умели втянуть ее в свои забавы. Они подсмеивались над ней, если она отказывалась принимать участие в их играх; добродушно корили ее в трусости, в неблагодарности, в забвении счастливых забав ее детства и в неумении пользоваться дарами природы, лучшим временем жизни — молодостью, столь кратковременной у людей.

Майя скоро узнала, что верить этим блестящим эфемеридам нельзя, что они только внешнею блистают, а внутри, вместо души и сердца, они *«подбиты холодным ветром»*, — шутя, говаривал ей Кассиний. Но все же порой увлекалась красотой их и вечной веселостью. Их она не боялась, как других, часто сходных с ними по внешности, но гораздо более зловредных видений — воплощений злых

помыслов и страстей человеческих... Прежде она и их не страшилась нисколько. Они, в детстве, пробуждали в ней одно любопытство, но не привлекали нимало, чаще даже представляясь в уродливых или смешных формах, нежели красивых. Теперь было не то. Теперь эти «элементы зла» ее часто интересовывали, а едва она обращала на них внимание, они получали к ней доступ и близость, которых прежде не бывало. Она старалась их устранять, помня советы Кассиния, — но было это очень трудно! И чем далее шло время, тем становилось труднее. Ей даже не всегда удавалось отличать теперь эти порождения людских пороков, эти злые «испарения», воплощенные в образы, от безвредных «начал», элементарных зарождений вечно действующих, творческих сил самой матери Природы, не терпящей ни в чем пустоты.

На беду, в последнее время Кассиний реже и реже навещал ее. Он говорил, что ей надо привыкать самой руководить своими действиями и помыслами; что он обязан предоставить ей полную самостоятельность; «свободный выбор» ее не должен быть ни стеснен, ни направляем долее.

Майя справлялась с собою, как умела. В последнее лето она почти отказывалась от прогулок; но ее спутники всюду находили к ней доступ, спрятаться было невозможно. Едва она задумывалась, едва закрывала глаза ночью, думая уснуть, ее тотчас окружали рои блестящих видений, и, как полоненная их золотыми сетями, она неслась вслед за ними в волшебные области, часто не умея отличить мечты или сна от действительности.

V

Однажды во сне она увидела себя в царстве гномов. Она очутилась перед пламенным жерлом ядра вселенной. Там живо и ловко работали «эти маленькие рудокопы, кузнецы и ювелиры, — эти трудолюбивые деятели природы, которых тупоумие людское, — думалось Майе, — окончательно

отнесло в область мифа». Они суетились вокруг нее, добродушно показывали свои разнообразные труды: как они распоряжаются источниками металлов, как преграждают вулканические движения, направляя их в менее заселенные местности, по возможности в океаны или на края необитаемых гор, и тем спасают людей от многих бедствий... Расспрашивала она их: почему бы им не расчистить пошире ложа для золотых жил, да пустить их из горнила земного так же щедро, как пускают они железо да медь?.. Почему бы также щедрее не рассыпать им драгоценные камни из неиссякаемых сокровищниц, которые они ей показывали?.. Они только засмеялись, сказав, что это не изменило бы к лучшему положения ее братьев по плоти, безумцев-людей, которые ценят только редкие побрякушки, а на сокровища, щедро изливаемые для них природой на поверхность земную, и внимания обратить не хотят, и воспользоваться не умеют!.. Не в золоте и не в алмазах главные сокровища, вверенные им, уверяли ее гномы, — но не достойны люди их откровений...

На прощание ей указали на чудный, прозрачный, светло-розовый огонек, дрожавший ярким пламенем в глубине сиявшего алмазного грота:

— Погляди, красавица, вот тот самый животворный, священный огонек, которого ученые доискиваются с начала мира! Тот самый, которого недостает и отцу твоему для выполнения его неосуществимых замыслов. В этом розовом огоньке живет первобытная сила: *Аказа* — называли ее ваши мудрецы!

— О, дайте мне этого огня! Дайте хоть одну искорку! — протянула к нему Майя с мольбою руки. — Дайте порадовать мне отца.

Гномы только покачали головами и ответили ей, что сама она не знает, чего просит. Разве знания отца ее не могут перейти к другим людям? А сделавшись общим достоянием, не породит ли бед великая, беспредельная мощь этого божественного пламени, вложенного в землю для ее оплодотворения, для приведения в действие всех скрытых сил ее? Она гораздо вернее приведет к гибели, чем ко бла-

гу людей! Как все в природе, и этот огонь имеет силы двойственные, и тоже, как всегда, губительные свойства его гораздо легче постигаются, чем полезные, и несравненно легче приводятся в действие... Нет! Нет! Придет ли когда время им поделиться этим огнем с человечеством, — они не знают, но оно еще не наступило ныне.

— Значит, моему бедному отцу никогда не довершить трудов своих? — печально спросила Майя своего спутника-гнома, быстро уведившего ее от прекрасного розового света. — Никогда не облагодетельствовать своих братий?

— Ошибаешься! — отвечал он. — Труды его на благо человечества полезны для его духа и для преуспевания духовных сторон людской жизни вообще. «Идеалисты» — как их называют неблагодарные их братья, — самоотверженные и преданные науке труженики, никогда не достигают практических выгод. Но братьям своим они оказывают благодеяния драгоценнее материальных благ: они очищают их от плотских, греховных стремлений лучами этого самого священного, духовного огня, который горит неугасимо в их чистых душах. Огонь этот животворит и возрождает. Без его света, тепла и силы погибла бы не одна земная жизнь, но и духовное начало: альфа и омега бытия, ибо огонь этот — *любовь*!

С последним словом гнома Майя *проснулась*, то есть она открыла глаза и увидала себя сидящей в кресле за письменным столом; но сама была уверена, что все ею виденное — не вымысел и уж никак не сон. Она сейчас же начала записывать свое новое «видение», но успела в тот вечер только рассказать его начало. Были ли это ее собственные мысли в то время, как она пролетала над долами и горами, стремясь ко входу в знакомый грот вслед за своим провожатым, в подземное царство гномов, или то, что он рассказывал ей по пути — она не знала. Да она никогда и не допытывалась таких определений: ей только нужно выяснить общее впечатление и запомнить сон, который, как все ее видения, должен был оказаться последовательным звеном в их длинной цепи.

Когда Майя принялась писать, она скоро почувствовала приближение какого-то тяжелого ощущения. То было чувство не то тоски, не то физической боли, стеснения в груди, прежде ею никогда не испытанного.

Она догадывалась, что чувство это приходит не даром, что оно предвещает близость какой-нибудь опасности, чье-нибудь *дурное* веяние.

В ту же минуту ее собака Газель, лежавшая у ее ног, тоже встрепелась, подняла голову и беспокойно зарычала.

Майя опустила руку, выпрямилась и вопросительно оглянулась... Никого не было ни видно, ни слышно.

Однако, кто-то был близко. Она чувствовала это... И Газель тоже чувствовала: она встала, вытянула голову по направлению к окну и глухо зарычала озлобленным и вместе испуганным рычанием.

Майя решительно пошла к окну и раздвинула тяжелую занавесь... Что-то темное, показалось ей, пронеслось в глубь сада от стекла. Ночь была светлая, осенняя. С морозного неба светила луна, серебря верхушки деревьев, не доходивших до этой вышки в четвертом этаже. Все было тихо и неподвижно в саду, и в расстилавшемся за ним парке, и на еле мигавшем редкими звездами небе. Все, — кроме того, *чего-то* черного, мелькнувшего так быстро, что Майя не успела его рассмотреть. Она готова была бы подумать, что ей *это* почудилось, если б не отчаянно яростный лай, которым заливалась Газель. Она обмануться не могла!

— Газель! — ласково погладила ей голову Майя, задумчиво возвратившись к столу. — Газель! Что ты видишь?.. Кто там, за окном?.. Дурное что-нибудь?.. Злые силы?.. Враги?..

Собака жалобно визжала, обнюхивала воздух, засматривала тревожным взглядом в глаза своей госпожи и не хотела успокоиться.

Молодая девушка задумчиво облокотилась о глубокое кресло и вопросительно смотрела в серую раму окна; но между стеклами и небом ничего не показывалось.

«Неужели мне изменяет духовное зрение? — тревожно размышляла Майя. — Неужели я хуже вижу, чем прежде?

Не может быть!»

И она стала звать Кассиния.

Что-то тихо прозвучало над нею.

Словно невидимая рука над головой ее ударила по струнам невидимой арфы.

Майя вздрогнула и выпрямилась во весь рост с блаженной улыбкой ожидания на оживившемся лице. Она знала давно этот гармонический аккорд, предвещавший близость ее друга.

Но он не появлялся. Майя напрасно обводила глазами всю комнату... Вместо него она услышала его голос:

«Не могу прийти! — говорил он. — Будь осторожна и готова к борьбе... Приближается время испытаний. Я, как друг, буду помогать тебе. Только не забывай, что дух сильнее плоти, и мужайся!»

Знакомый, милый с детства голос затих.

— Барышня, пожалуйста вниз. Барин вас просят! — раздался голос горничной в дверях.

— Он возвратился? — спросила Майя, вспомнив, что отец ее в этот день уезжал в город.

— Вернулись... С каким-то барином.

— С барином?.. — переспросила Майя и подумала: «Господи! Вот уж не в пору!.. Занимай еще теперь гостей!»

— Хорошо. Скажи: иду! — прибавила она.

И пошла вслед за служанкой.

Собака весело вскочила, встряхнулась и побежала за нею.

Майя прошла почти бессознательно две лестницы и несколько комнат нижнего этажа; и очнулась только на пороге кабинета, и то оттого, что бежавшая впереди ее Газель вдруг остановилась, оцетинилась и зарычала.

— Газель! Что ты?.. Не стыдно ли! — проговорила она, удивленная такой необычайностью.

Ласковая, прекрасно дрессированная собака никогда не оказывала негостеприимства посторонним, раз они вступали в дом ее хозяев. Но в этот раз Газель положительно сошла с ума: она уперлась в пол, рычала и не хотела двигаться.

— Куш!.. Гадкая собака! — шепотом прикрикнула Майя.
— Молчать!.. Ложись сейчас.

И, уверенная в послушании своей любимицы, молодая девушка приподняла портьеру и вошла без опасений.

Отец ее и высокий, пожилой человек стояли у стола. Они, увлеченные разговором, не слышали ее прихода.

Но тут Газель, словно взбесившись, с злобным рычанием и лаем устремилась на гостя, стоявшего к ним спиной. Она, казалось, готова была растерзать его. Ринарди и Майя бросились между ними, но тогда случилось нечто совершенно неожиданное...

Незнакомец только повернул голову и устремил пристальный взгляд на животное.

Газель, словно ужаленная, вдруг приросла к месту, дрожа всем телом и жалобно визжа. Потом вся осунулась, тихонько повернулась и вышла из комнаты.

Высокий, представительный человек улыбался, приветливо глядя на дочь профессора, очень сконфуженную и вместе испуганную за свою любимую собаку.

— Извините! Я не понимаю, что с нею случилось! — говорила она смущенно.

— Да, что это сегодня с Газелью?.. Никогда не бывала она так глупа! Ее надо наказать, мой дружок! — прибавил Ринарди.

— О, нет, прошу вас! — вступился приезжий. — Разве неразумные животные ответственны за свои симпатии или антипатии?.. Представьте меня, прошу вас, m-lle Ринарди, профессор.

Хозяева и гость говорили по-французски. Гость этот не был похож на русского.

Профессор сказал:

— Моя дочь! М-г le baron de Veillart.

Майя подала руку в ответ на протянутую ей выхоленную, аристократическую руку посетителя и тут в первый раз взглянула ему в лицо.

Взглянула и тотчас опустила глаза.

Едва рука ее почувствовала прикосновение его, а глаза ее встретили глубокий, пристальный взгляд, дрожь про-

бежала по ней и сердце до того тоскливо сжалось, что она почувствовала желание убежать и спрятаться скорее, как спряталась бедная Газель, забившись в другой комнате под диван.

«Так вот что! В нем и опасность?.. Его мне надо остерегаться, этого старика? — мелькнуло в уме ее. — О! Какой от него веет холод!.. Какой злой магнетизм окружает этого человека!»

VI

Барон Велиар остался на несколько дней в деревне Ринарди. Он был давно желанным, но неожиданным гостем профессора, известным любителем-натуралистом, археологом, механиком, доктором философии, магнетизером и членом бесконечного числа обществ, с которым профессор Ринарди давно состоял в переписке по некоторым ученым вопросам. Он знал, что барон приехал в Петербург, и даже собирался туда съездить для свидания; но тот остановил его, написав, что вскоре уезжает на Волгу, на Кавказ, в дальнейшее путешествие по России, но на обратном пути, вероятно, следующей весной, сам посетит Финляндию. С тех пор прошло несколько месяцев, и вдруг, приехав на день в Гельсингфорс, профессор узнает, что знаменитый ученый в городе и расспрашивал о нем и его имени. Он очень обрадовался встрече, — рассказывал он дочери в тот же вечер; а еще более тому, что барон изъявил желание его сам навестить, посмотреть на изобретенный им воздухоплавательный снаряд и другие, новые приспособления открытой профессором силы, свойства и суть которой он содержал в величайшей тайне.

— Ради Бога, отец! — вскричала Майя, вспомнив свое видение в царстве гномов. — Неужели ты все расскажешь и все откроешь этому неизвестному нам человеку? Будь осторожен! Не доверяйся сразу!

— Чего тут быть осторожным? Не доверять! — смеясь, вскричал профессор. — Что я ему буду открывать, душа моя, когда он сам все гораздо лучше меня знает?.. Послушала бы ты, как на пути он говорил мне о своих опытах с одним изобретателем в Филадельфии!.. Этот американец, как видно, дошел до таких же результатов, как и я, и точно так же не умеет справиться с окончательным подчинением дейст-вий найденной им силы своей воле: не хватает у нас главного, неуловимого чего-то, для овладения...

— Искорки первобытного огня! — в задумчивом бессознании прервала его дочь. — Животворящей Аказы!

— Что?!.. Что ты сказала?.. Откуда ты знаешь?.. — удивился Ринарди. — Впрочем... чего только ты не знаешь! — спохватился он. — Да! Аказа — небесный огонь, — называли ее древние... Розенкрейцерам была она известна под определением *prima materia*, потому что они ведь не отделяли *материю* от силы, действующего, безостановочного космического эфира вселенной. Велиар идет еще дальше: он держится определения санскритистов и называет ее душой вселенной... *Animus mundi* — великое начало и причина всего!.. Ты расспроси-ка его о всестороннем значении слова Аказа. Он расскажет тебе, что оно обнимает все принципы бытия: свет, силу, волю, творчество, дух — и самую любовь!

— Да, да! И он так сказал: любовь в душах людей и животворный огонь, все оплодотворяющий в природе, — одно и то же! — невольно вскричала Майя.

— Ты слышала, как барон говорил это? — спросил отец. — Я думала, что тебя с нами не было.

— О, нет! Его я не слыхала, да и не стану с ним говорить! Он мне антипатичен.

— Напрасно!.. Я понимаю, что тебе не нравится его чересчур утонченное обращение, — ты таких не любишь!

— Не только это, а все! Этот человек — воплощение зла и лицемерия... Я предупреждаю тебя, отец, не доверяйся ему ни в чем. Все, что есть в нем сил и дарований, он все употребит на вред и пагубу всех, к кому имеет доступ. Ты знаешь: я в людях не ошибаюсь.

— Ты преувеличиваешь, мое дитя. И, наконец, хотя бы и так! Мы ведь с ним не навеки сошлись... Знания его велики, и мы стараемся их позаимствовать, а дурные свойства его пусть при нем и остаются.

— Да! Если бы это вполне зависело от нас! — задумчиво возразила девушка. — К несчастью, не одни физические эпидемии заразительны; а я *вижу*, какой черной атмосферой дышит этот человек.

Этот человек, между тем, не только видел все, но слышал весь разговор отца с дочерью в этот первый вечер своего прибытия и во все последующие дни, — как слышал, видел и знал беспрепятственно *почти* все, что хотел...

Когда Ринарди простился с дочерью и они разошлись, барон Велиар, сидевший в кресле, в своей далекой спальне, до того неподвижно, что его можно было принять за мертвого, пришел в себя. Презрительная улыбка оживила тонкие черты его выразительного лица, редко оживлявшегося в присутствии свидетелей. Он оперся головой на руку и несколько времени глубоко размышлял о чем-то.

«— Да! — чуть не вслух сорвалось с языка его в заключение. — Кажется, я им делал слишком много чести, — этому маньяку неплототворных изобретений и его неясно видящей ясновидящей! *Они* — наши светлые братья, — очень наивны, как и всякая добродетель, если замышляют поколебать наше влияние на мир такими орудиями, как эти двое, отец и дочь!.. Она способнее... но, кажется, нам и сильнейших претендентов на посвящение в светлые таинства и на благотворные перевороты в духовном мире человечества удавалось отстранять в ряды безумных и бессмысленных юродивых!.. Подождем. Вероятно, обычные средства помогут».

Почти все следующие дни хозяин и гость провели, запершись в лаборатории. Встречаясь за поздними обедами, профессор так был занят своими размышлениями, что почти не говорил с дочерью; барон, напротив, бывал очень разговорчив и так красноречиво рассказывал, что несколько раз возбуждал интерес Майи. Ей стало даже казаться, что она преувеличивала темные свойства их посетителя. Черных

испарений, окружавших его, она положительно более не замечала. Только одно поведение Газели, которую приходилось запира́ть во избежание неприятностей, поддерживало ее опасения. Собака не могла выносить близости де Велиара спокойно. Она или лаяла и металась в небывалых припадках злобы, или, встретясь с ним взглядом, визжала и пряталась в ужасе.

Страх животного уступал злобе только в те минуты, когда барон приближался к его хозяйке. Газель ни за что не допускала Майю подать ему руку, как бешеная, бросаясь на гостя. Пришлось ее запира́ть во всю неделю пребывания у них барона.

— Что вы делаете сегодня вечером, m-lle Marie? — спросил ее де Велиар раз, когда обед их приближался уже к концу.

— Я?.. Ничего особенного. Поиграю, вероятно... А когда надоест музыка, пройду́сь по парку.

— Вы не боитесь выходить так поздно?

— О, нет. Чего ж бояться?.. Здесь тихо. И к тому же я беру с собой Газель, а вы видите, как ревностно она меня оберегает! — улыбаясь, прибавила молодая девушка.

— Да, чересчур ревностно.... Но вряд ли на ее охрану можно во всех случаях положиться... Серьезно! Не советую вам ходить в сумерки далее сада. Мне говорили, что в окрестностях много волков.

— Волков у нас довольно, но теперь слишком рано для их появления... Позже, зимой, они ходят целыми стаями.

— Не в числе дело, Майя! — отозвался профессор. — В городе опасаются бешеного волка. Было несколько случаев укушений... Собираются делать облавы, не дожидаясь даже снега.

— Вот видите... Вместо прогулки подымитесь лучше к нам на вышку, в лабораторию вашего батюшки, m-lle Marie. Мы устроили там приспособление к подзорной трубе, которое придает большой интерес нашим наблюдениям... Если только ночь будет, как надо надеяться, ясная.

— Да, это изумительно! Я все думаю о вашем увеличителе, барон, и не надивлюсь... Представь, Майя... Барон

имеет множество удивительных инструментов в своем «волшебном бауле», — так я назвал его ящик...

— Ваш батюшка оказал такую незаслуженную честь моему дорожному несессеру, — добродушно смеясь, вставил де Велиар.

— Ну, да! Незаслуженную!.. Хотя бы ваш разрушающий и созидающий эфир!.. Или вот этот *увеличитель*!.. Представь себе, Майя; маленький ящичек, не больше моей табакерки. Барон ставит его на стол рядом с моим микроскопом и проводит из него к стеклу проволоку, и что же ты думаешь? Микроскоп приобретает силы утысячеренные!.. То есть вот до чего: ты знаешь, в какую величину представляется волосок в моем настольном микроскопе?.. Тонкой веревочкой, не правда ли?.. Ну, эта веревочка превращается в корабельный канат, если приложить к краю стеклышка проволоку увеличителя барона де Велиара.

— Неужели?... Как же мы ничего не читали об этом инструменте? — осведомилась Майя. — Как ты не слышал, папа?.. Ведь он должен произвести переворот в этом деле!

— Без сомнения! Но барон его существования открывать никому не желает.

— Возможно ли?!.. Мне кажется, это преступление против науки!

— Тайна моего маленького механизма принадлежит не мне! — добродушно возразил барон. — Открывать его я не имею права! Но охотно могу и желаю услужить вашему батюшке, оставив ему этот экземпляр. Сегодня мы будем испытывать его силу на большом телескопе, наблюдая звезды и луну... Не пожелаете ли и вы к нам присоединиться, m-lle Marie?

— Разумеется... И с большим удовольствием! — согласилась Майя. — Я так благодарна вам за отца.

Профессор, между тем, засыпал своего гостя благодарностями и не совсем решительными отказами воспользоваться его щедростью.

— Она мне ровно ничего не стоит! — отклонил и те и другие барон. — Я всегда могу иметь дубликат этой маленькой машинки.

VII

В ожидании темноты, барон после обеда попросил Майю сыграть что-либо и пришел в крайний восторг от ее фантазий. Он удивил ее несколькими замечаниями, совпавшими, как нельзя лучше, с ее собственными представлениями.

— Это очень блестяще!.. Очень оригинально!.. Будто бы видишь танец саламандр в огненных вихрях пожара, — сказал он.

— Такова моя мысль, — согласилась Майя. — Но как вы могли напасть на нее?.. Я, обыкновенно, списываю свою музыку с окружающего. Вот и теперь: мне показалась пляска саламандр там, — в камине, — кивнула она головой на ярко растопленный в глубине гостиной камин. — Я ведь фантазерка!

— О! Да. Я знаю... но ваш термин не верен, — вы не фантазируете, а, действительно видите то, что сокрыто от более грубых натур, и великолепно рисуете звуками!

Майя ничего не отвечала, а только подумала: «Неужели и он видит, что я вижу?» Но говорить с ним об этом она не хотела, все же сильно ему не доверяя, хотя отзывы и внимание его ей льстили.

«Она осторожна! — в то же время подумал барон. — Положительно, ее следует более опасаться, чем этого наивного старика... Она довольно сильна!.. Довольно сильна и очень способна! Надо, кажется, прибегнуть к содействию обычных органических сил, чтоб отвлечь ее от духовных стремлений».

— Ну, а теперь что вы хотите воспроизвести? — заговорил он через несколько минут тихо, осторожным шепотом, будто боясь спугнуть ее мысли или заглушить мелодию нежного *andante*, к которому перешла она после бурных аккордов. — Затишье после пожара и грозы!.. Светлеющий горизонт и, на его ярком фоне, силуэт приближающегося, любимого создания?..

Майя опустила руки и стремительно встала. Она только что думала о Кассинии, о его возвращении к ней.

— Нет! — шутивым тоном, но побледнев заметно, вскричала она. — С вами опасно предаваться мечтам!.. Лучше пойду пройдуся по саду! Посмотрю на восход луны, пока вы позовете меня на нашу обсерваторию.

И она хотела было исполнить свое намерение, но профессор ему положительно воспротивился.

— Куда идти, на ночь глядя? Не лучше ли всем сейчас подняться наверх?.. Что ж, что луна не встала! До ее восхода можно посмотреть на звезды: они еще ярче, пока ее нет.

Майя очень любила наблюдения над светилами небесными; ей часто случалось долгие часы проводить у отцовского телескопа. Теперь же ее интересовал чрезвычайно увеличительный аппарат, о котором профессор рассказывал такие чудеса. Она поглядела в окно на ясные сумерки, на небо, в глубине которого уже мигали первые звезды, и вдруг, загоревшись желанием посмотреть на них ближе, вскричала:

— Ну что ж, пойдемте!.. Пойдемте наблюдать за тем, как люди живут на Марсе и Венере.

И она, весело оглянувшись на гостя и профессора, чуть не побежала вперед в кабинет отца и его лабораторию, откуда круглая, выючаяся лестница вела на вышку, в стеклянный павильон, названный ими *обсерваторией*. Она не останавливалась еще на странном явлении, с нею происходившем; оно бы ее поразило, если б ей дано было его заметить. Куда девалась ее антипатия к барону? Она и думать о ней перестала! Ей было так легко, так весело, как с детства не бывало. Знай Майя опьяняющее действие наркотических средств, она могла бы подумать, что ее чем-нибудь опоили, — так горячо струилась в ней кровь, так крепко билось временами и сладко замирало сердце.

Они взошли на вышку. Барон добродушно смеялся над тем, что она забывает их годы, судя по своим. Он указывал на профессора, немного запыхавшегося и отставшего от них на лестнице, с лампой в руках.

— Кажется, не к чему было заботиться об освещении? — смеясь, сказал он, ставя лампу на стол. — Здесь так светло!

В самом деле, хотя сумерки были ясные и восток уже освещался заревом восходившей луны, но все же в этой стеклянной вышке было необыкновенно светло, словно она сама сияла своим внутренним светом.

— Это чудо, что за ночь! — вскричала Майя. — Откуда этот ясный свет?

— Вероятно, ваше присутствие разливает его! — любезно заметил де Велиар. — Больше нечем объяснить этого... Ринарди! потушите вашу смрадную лампу. Ничто она, когда блеск глаз m-lle Marie до того блестящ, что я, право, боюсь, чтоб пред ним не померкли светила небесные.

Милой шутке рассмеялись. Барон принялся устраивать свой аппарат рядом с довольно большим телескопом профессора. Отец и дочь следили за его движениями и рассматривали крошечный серебряный ящик-увеличитель с величайшим интересом. Когда барон установил его и вынул из него соединительную проволоку, укрепленную одним концом внутри ящичка, прежде чем провести ее к стеклам, он предложил Майе испытать странное, чрезвычайно приятное, говорил он, действие токов, взяв ее в руку...

Майя хотела уж протянуть к проволоке руку, как вдруг почувствовала, что не может поднять ни правой, ни левой руки. Они будто приросли к ее телу...

В ту же секунду она вспомнила, что давно, в детстве, с нею повторялось дважды это явление: раз она хотела достать из пылавшего камина красную звездочку, мелькавшую словно ей в потеху. Ей тогда было не более трех лет. Она забыла, что огонь жжется. В другой раз она чуть не упала в пруд, разбежавшись и в пылу веселья забыв о нем, — когда вдруг окаменела на месте, не в силах будучи поднять ни рук, ни ног. Впоследствии Кассиний объяснил ей, что он оставил ее; что, хотя его возле нее нет, он хранит ее издали.

«Помощь моя с тобой!» — вспомнились ей недавние слова ее невидимого друга.

— Нет! Благодарю вас... Лучше в другое время! — сказала она, едва владея собой. — Теперь жаль каждой секун-

ды... Пожалуйста, устройте скорее, что надо... Мы с папá сгораем любопытством.

«Сама предусмотрела или предупреждена? — подумал де Велиар. — *Который* с нею?.. Хотел бы я знать наверное!.. Надо выпытать у отца ее. Но один из сильных! Один из сильных!..»

Пока эти соображения занимали его втайне, въяве его речи, его улыбка, его поспешность, — все выражало искреннюю готовность сообразоваться с желаниями молодой девушки.

Через пять минут все было устроено, и барон навел телескоп на одну из крупных звезд, еще довольно слабо мерцавших на западной стороне неба.

— Так как мы начнем наблюдения наши не для пользы науки, собственно, а скорее для нашего удовольствия, то вы позволите, дорогой коллега, уступить первое место даме? — с улыбкой спросил барон и, не дожидаясь ответа, обернулся к Майе. — *Place aux dames!*.. Не угодно ли вам, *m-lle Marie*, полюбоваться?

Не без волнения недоверия попробовала Майя пошевелиться: она боялась, что ей не будет позволено и смотреть в телескоп... Но нет! Члены ее были свободны... Она беспрепятственно поднялась на ступеньку, взглянула в стекло и замерла в очаровании.

Ей представилось сказочное небо, горевшее разноцветными светилами. Иные сияли, как брильянты, другие голубели светом прозрачной бирюзы, — пылали огненным или багровым пламенем. Разнообразие и красота были бесконечны; но не того ожидала девушка.

— Что ж это? — спросила она в недоумении. — Я думала видеть одну планету, а вижу целое море очень странных, крупных, красивых звезд, но — больше ничего.

— Это потому, что я вам сначала показал атмосферу, небосклон той дальней планеты, которую вы сейчас увидите самую в подробности, если вам надоело ее небо... Позвольте на одну минуту.

И, став на ее место, он направил несколько вправо трубу.

— Вот, не угодно ли теперь полюбоваться.

Он отступил, и Майя снова заняла свое место. На этот раз перед ней была лишь часть, как показалось ей, неведомой земли, освещенной радужной атмосферой. Земля плавала в ней, как бы окутанная прозрачными волнами эфира, постепенно менявшимися, переливаясь, все цвета. Но окраски эти так были нежны, что не мешали разглядеть сквозь них очертания местности, гор, гигантской растительности и светлых пятен, — озер или целых морей. Не было видно движения, но виднелись места, похожие на муравейники, а иные и на правильные клетки, весьма схожие с постройками, с городскими кварталами.

Майя рассказывала обо всем, что видела, по мере того, как оно поражало ее.

VIII

— Неужели все эти линии, правильные четырехугольники, образованы зданиями? городскими улицами? — спрашивала она. — Неужели та далекая жизнь подобна нашей, и звезда эта обитаема и населена такими же людьми, как мы?

— Очень вероятно! — отвечал де Велиар. — Если и не совсем такими, то все же, приблизительно, нам подобными... Недаром же сотворены все эти миры!.. Большинство, если не все, обитаемы, и жители их, верно, как и мы, воображают себя царями мироздания, для которых создано все... Я покажу вам, если хотите, потухшую планету рядом с этой землей, ее луну, быть может... Вы тогда увидите, какая разница между нею и этой красавицей, полною сил.

— А нельзя ли прежде еще усилить действие вашего увеличителя, барон? — попросила девушка. — Еще немножко, и я бы разглядела постройки, быть может, людей!

— Еще бы немножко — и стекла телескопа вашего батюшки разлетелись бы вдребезги! — смеясь, возразил барон. — Нет, еще усилить действие моей машинки невозможно. Да знаете ли вы, насколько увеличена сила стекол

в телескопе?.. Я вам сейчас покажу это!

И барон, не говоря ни слова, отнял проволоку от стекла.

— Что это? — вскричала Майя. — Зачем вы передвинули трубу?

— Я и не думал.

— Да как же?.. Где же?.. Смотрите! Видна только обыкновенная звезда и больше ничего!

— Ну, разумеется. Это и есть планета, которую вы сейчас любовались... Она ведь одна из самых отдаленных... Не помню даже, как ее называют астрономы.

— Что вы хотите сказать?

— То, что говорю. В телескопе она видна такой, какую вы ее видите теперь: блестящей, несколько увеличенной звездой, — вот и все. А приложите к краю стекла мою проволоку, — как я это делаю в настоящую секунду, — и блестящая звезда приблизится настолько, что вам видно очень незначительное пространство на ее поверхности... Видите?

— Вижу. Это изумительно!

— Неужели действие так сильно? — удивился профессор. — Ты совсем монополизировала телескоп, Майя! Дай хоть взглянуть.

— Посмотри, папà! Посмотри! Это просто волшебство. Барон, пожалуйста, покажите ему планету, как мне, а потом окружающее ее небо.

И Майя отступила, дав место отцу. Но в это время барон незаметно разъединил проволоку.

— Ну, папà! Что ты видишь? Не правда ли, восхитительно?.. Непонятно!

— Гм, да! Да... Очень большая звезда! — пробормотал разочарованный профессор.

— Как: *очень большая* звезда?! Целый мир! Другой земной шар, во сто раз лучше нашего. Какие цвета! Какое освещение!

Добродушный смех де Велиара привлек внимание молодой девушки.

— Что это? Барон! Да вы сняли проволоку? Вы разъединили... Ну, можно ли?.. Скорей наденьте!

И Майя, забывшись, бросилась вперед, чтоб выхватить из рук барона магическую проволоку, но в ту же секунду ее словно ослепила молния. Она приросла к месту, ничего не видя, не слыша и не в состоянии будучи пошевелить пальцем.

Состояние это продолжалось несколько секунд, но барон успел заметить свое вторичное фиаско и, не подавая в том ни малейшего вида, уже приблизил сам проволоку к стеклу и позволял профессору изумляться представшим ему зрелищем и восторгаться волшебной силой «увеличителя» на все лады.

И странно! Сильно должно было быть влияние средств барона де Велиара, когда и после этого, вторичного предупреждения ее друга о положительной опасности ее сообщений с ним, — Майя все же не удалилась, а весь вечер провела возле него, увлеченная диковинными зрелищами, представленными им в ту дивную ночь на поверхности звезд и полной луны, вскоре царственно всплывшей на безоблачное небо.

Поздно, после полуночи, разошлись хозяева и гость. Майя шла в свою комнату очарованная, словно бы опьяненная даже... По крайней мере, она совершенно не сознавала действительности. Не помнила, как ее раздела горничная, как она опустила в комнате ее все занавесы и шторы, затемнила лампадку и вышла, пожелав ей спокойной ночи. Она этого ничего не помнила; даже не слышала жалобных взвизгов запертой Газели, о которой впервые позабыла. Как сноп, упала она в подушки и в ту же минуту заснула.

«Что это нынче с барышней? — недоумевала горничная. — Будто нездорова, что ли? И про Газельку-то не спросила. Надо будет выпустить ее, сердечную, на ночь. Пусть пробежится, а то ишь ее, как в чулане заливается!»

И горничная вышла и заперла за собою осторожно двери. Все в доме уже было тихо и темно.

Без грез и без видений, на этот раз, тяжелым сном почивала Майя. Долго ль спала она? Она не могла бы сказать. Она не открывала еще тяжело сомкнутых глаз, когда в ней пробудилось сознание, что ей *необходимо* проснуться.

«Что же, разве уж день?.. Надо вставать?.. — бессознательно задавала она себе вопросы. — Но отчего я не могу?.. Как трудно дышать!.. Как тяжело... Ох!» — громко простонала она, разметавшись, но не в силах ни подняться, ни даже поднять век.

Словно в ответ ей, в ночной тиши раздался тоскливый, протяжный вой.

Что-то налегло тяжким гнетом на грудь спящей. Какой-то невыносимо яркий свет резал ей глаза. Сердце сильно, учащенно билось, и какая-то истома, какой-то страх, вместе и боязнь, и сладкое томление захватывали дух, мутили сознание... Ее укутало, казалось ей, огненное облако и куда-то, к чему-то влекло... Влекло неотразимо!

И среди всех этих чувств, наперекор им, всплывало сознание, что надо, *надо* проснуться! Хоть умереть, но открыть глаза!

И сила этого сознания восторжествовала. Майя подняла веки.

Теперь она *видела*, но сообразить ничего не могла и не могла двинуть ни одним членом. Она была убеждена, что лежит на своей кровати, но... почему ей так тяжело? так страшно холодно? *Куда* ее тянет?

Тоскливый, за душу хватающий вой окончательно пробудил ее.

Что это?.. Кто так открыл занавес?.. Полный месяц глядел в окно своим искривленным, страдальческим ликом и ярко освещал белую и бледную Майю, в одном белье стоявшую среди комнаты, пред дверями, широко отворенными в длинный, темный коридор. На дальнем конце этого коридора находились нежилые комнаты для гостей, и туда именно влекла и тянула Майю какая-то неотразимая сила.

Нет, нет! Она туда не пойдет! Там — опасность!.. Там — смерть!

С нечеловеческим усилием, вся обливаясь холодным потом ужаса, Майя рванулась прочь от черных дверей и тут только осознала, что она совсем не в своей комнате, а внизу — в пустой гостиной.

«Что со мной?.. Как я здесь?.. Куда я шла?» — вихрем пронеслись вопросы в воспаленном мозгу Майи.

Она чувствовала, что ее охватывает дурнота, но сознание, что она пропала, если упадет в обморок, поддерживало в ней борьбу. Без сил опустилась она в кресла.

В ту же минуту противоположная стеклянная дверь в сад со звоном стремительно отворилась и, как бешеная, с визгом и пронзительным лаем, в нее ворвалась Газель, все опрокидывая на пути. Задетый ею столик со множеством фарфоровых и стеклянных безделушек упал и перебудил весь дом.

На одну секунду верная собака остановилась возле полубесчувственной Майи; потом метнулась, как угорелая, к коридору и с громким, озлобленным лаем понеслась к комнате, которую занимал барон де Велиар.

Весь дом сбежался на эту кутерьму.

Профессор, люди со свечами. Все бросились к молодой девушке, но в ту же секунду она сама встала и отчаянно устремилась к дверям, открытым настежь на террасу.

Туда только что пробежала, вся оцетинившись, словно в полном припадке бешенства, ее собака, ее верная Газель.

— Газель! Назад! Сюда! — кричала Майя отчаянно.

И вдруг, вся задрожав, умолкла, протянула руку, на что-то указывая вдали, и замерла, как статуя, вся освещенная луною.

Все глаза устремились за цветник.

Там, на поляне, облитой сиянием, у опушки парка стоял огромный зверь и, оскалив зубы, поджидал летевшую на него Газель. Она как стрела упала на грудь зверя и оба, сцепившись, исчезли в тени деревьев.

— Волк! Бешеный волк! Помилуй нас, Боже! — заговорили люди.

Майя сделала шаг к отцу и упала к нему на грудь без чувств. Нервы ее не выдержали потрясения. Пораженная всем происшедшим, она еще более испугалась, в последнюю минуту, тому, что *одна видела совсем не волка...*

Во всем доме не проснулся от этого страшного шума один гость — барон де Велиар.

Он вышел на другое утро из своей комнаты свежий, улыбающийся, как всегда.

Он поражен был рассказами о загадочном происшествии. Очень дивился, очень соболезновал о погибшей Газели, а еще более о болезни m-lle Marie, которую он больше не видел. Барон уехал на следующий день, обещав профессору с три короба всяких присылок и сведений... Он решил уехать накануне, убедившись, что в настоящее время, несмотря на гибель Газели, — он бессилен!..

Когда Майю увели в спальню почти без чувств, она упала на постель и уже готова была погрузиться в одолевавший ее сон, как вдруг перед закрытыми ее глазами пронеслись блестящие буквы, — слова, целая фраза: «Собери силы: под изголовьем твоим предохранительный талисман, — надень его и будь спокойна». Нужна была вся привычка Майи беспрекословно повиноваться Кассинию, чтоб она нашла силы сознательно исполнить его требование... Одну минуту Велиар надеялся, что она заснет, не успев этого сделать. Но нет! Вот она засунула руку под подушку, вынула нечто вроде медальона, — какой-то темный камень на цепочке и, даже не взглянув на него, машинально перекинула цепочку на шею...

Засыпая сладко, Майя не чувствовала богохульного проклятия, обрушившегося на ее голову и голову Кассиния. Теперь проклятия, и знания, и силы барона Велиара были недействительны... Он это знал, и не было ему больше необходимости оставаться в доме профессора.

«На него сможем действовать и издали! — решил он. — А вот надо найти средство с нею справиться!.. Они теперь ее предупредят, наверное. И вооружат еще сильнее!..»

Самым удивительным фактом во всей этой ночной передряге было то, что на теле мертвой Газели не оказалось ни одной раны, — ни единого следа волчьих зубов.

IX

— Майя! Проснись, дитя мое!.. Давно пора. Братья и сестры ждут тебя... Ты хорошо отдохнула?

Майя не в первый раз слышала над собой этот ласковый голос, но медлила открыть глаза, так сладко ей спалось, так легко дышалось на мягком, нежном ложе, в просоньи казавшемся ей сотканным из лебяжьего пуха. Наконец, она сделала над собою усилие, подняла веки и посмотрела, ничего не понимая...

Она лежала на большой возвышенности, откуда во все стороны открывался далекий, величественный, чудно-красивый вид. — То, что ей казалось ложем из лебяжьего пуха, было высеченным в куске белого мрамора каменным ложем вверху пригорка, который до самого подножья был иссечен такими же изваянными в груди его местами отдохновения. Он весь был окружен галереями, винтообразно сбегавшими вниз с беломраморными колоннадами и портиками, кое-где красиво драпированными белыми же или пурпуровыми с золотом, тканями, то опускавшимися до низу, то подобранными величавыми складками.

Из-за них живописно открывались просветы на чудно-красивые окрестности. Высочайшие цепи гор, снизу покрытые богатой растительностью, выше — увенчанные горделивыми снежными вершинами, перемежались долинами, где светлые озера блистали среди рощ, благоухавших всей прелестью тропических и северных деревьев и цветов. Холмы и луга были усеяны разнообразными жилищами; полуфантастические здания всех стилей выглядывали из-за зелени и пышных цветников.

Множество водопадов и светлых ручейков стремилось каскадами, перерезывало волнистую местность по всем направлениям. Иные впадали в зеркальные озера; другие, пенясь и журча, по камням бежали далее, к синему морю. С одной стороны горы широко расступались, и там, в блиставшей бирюзой и золотом дали, безоблачное небо сливалось с безбрежным океаном.

Но прямо перед изумленной Майей раскидывалась долина, вся окруженная лесистыми, темными холмами; а в ней, под цветущей дубравой, вместе с ней опрокинувшись отражением в светлое озеро, возвышалось большое, уединенное здание. То было нечто вроде индийской пагоды со многими этажами, галереями и киосками.

Не веря своим глазам, молодая девушка закрыла их, ослепленная! Потом протерла и вновь открывала... Пред нею были все те-же волшебнo-чудные картины, — ничто не исчезло, ничто не изменилось... Она привстала и хотела внимательней осмотреться; но голос, будивший ее только что, послышался опять, и она увидала позади себя высокую, приветливо ей улыбающуюся женщину.

— Пойдем, — говорила она, — все хотят тебя видеть и ждут давно. Надеюсь, что ты успела отдохнуть с тех пор, как брат Кассиний тебя принял к нам?

Майя отвечала ласковой улыбкой на ее улыбку. Хотя она не могла бы назвать этой женщины или сказать, где ее видела, но она тотчас ее узнала, чувствуя, что хорошо, давно ее знает, и нисколько не удивилась ее присутствию.

— Я отдохнула прекрасно! — отвечала она. — И готова следовать за тобой, куда прикажешь. Давно, скажи, привел меня сюда Кассиний?.. Какое чудесное место!.. Как мне жаль, что я, может быть, потеряла много времени во сне?

Женщина снисходительно усмехнулась.

— Ты его не потеряла, если раз очутилась между нами! — возразила она. — Твой сон был нужен для совершения пути... Время должно цениться не само по себе, а по той пользе, с которой оно проходит. Готова ли ты следовать за мной?

— Совершенно... Но скажи мне, где я? Где Кассиний? Увижу ль я его, наконец?.. И куда он привел меня?.. Не здесь ли тот приют истины и великой любви, о котором он говорил мне?.. Все здесь так прекрасно! Милая... Как звать мне тебя?.. Я не помню твоего имени... О! какое дивное место и как мне хорошо!

Глаза Майи блистали. Она чувствовала себя так весело, так легко, словно у нее выросли крылья, словно она

готова была, как бывало в детстве, подняться на воздух и полететь.

Красивая высокая женщина смотрела на нее ласково, снисходительно улыбаясь, как взрослые смотрят на детей.

— Ты задала столько вопросов сразу, дитя мое, что их трудно упомнить! — отвечала она. — Меня зовут Софией. Кассиния ты увидишь. Он привел тебя в это преддверие нашей обители, чтоб спасти от злого влиянья одного из врагов правды и противников людского спасения...

— Де Велиара! — вспомнила Майя, и на лице ее отразилась тревога. — Но как же будет с отцом? — испуганно спросила она. — Он испугается, что меня нет! Он не перенесет этого!

— Не беспокойся, мое дитя. Мы бы не поступили так жестоко... Ты духом с нами, но для отца и всех оставленных тобою ты спокойно спишь и проспишь долго, не возбуждая ничьих опасений... На этот раз тебе с нами нельзя оставаться. Потом вернешься, если захочешь сама... если устоишь в соблазнах. Пойдем.

Они стали спускаться по бесконечным галереям, сводившим, почти без ступеней, к подножью холма. Изредка лишь более крутые лестницы взбегали на отдельные террасы, куда, сказала ей спутница ее, уходили сестры, желавшие уединиться для размышлений или для занятий. Там, говорила она, за террасами, отделявшимися от глаз драпировками вдоль колоннад, находились еще более уединенные гроты, где сестры могли предаваться одиночеству, не боясь помех.

— У каждой из нас есть такая келья, — говорила София. — Но если нет у нас особых занятий или влечения к созерцанию, мы больше бываем все вместе.

— Разве здесь монастырь?.. Кого ты называешь сестрами? — удивилась Майя.

— Сестрами и братьями мы все зовем друг друга. Разве ты не сестра мне по духу?..

Они сошли, наконец, в тенистый парк, где пели тысячи птиц, и по лужайкам, покрытым вольно росшими цветами, паслись группами дикие звери и домашние животные. Ско-

ро они очутились в той прелестной долине, которая видна была сверху.

— Это лабиринт, — то, что издали казалось нам рощей! — сказала София.—Туда ты не можешь проникнуть. Даже и нам, посвященным, не всем и не всегда свободен доступ к жилищу самых высоких адептов, каков Кассиний... Да вот и он идет сам.

Х

Радостно забилося сердце Майи. Она ускорила шаги на- встречу своему учителю. Кассиний приветствовал ее улыб- кой.

— Добро пожаловать, — сказал он. — Отдохни с нами от тревог и дурных влияний! Наберись сил вести дальней- шую борьбу с искушениями, с жизненными испытаниями и печальми. Укрепись, чтоб выйти победительницей и удо- стоиться принять миссию избранных.

— Кассиний! — вскричала она. — Неужели ты не совсем увел меня?.. Неужели мне опять надо возвращаться?.. Прав- да: там отец!.. Но... — Майя опомнилась и смущенно умолк- ла.

Глубокий и печальный взгляд был ей ответом.

— Ты огорчаешь меня, дитя! По какому же праву я могу тебя взять в эту, — конечную для смертных, не разлучен- ных окончательно с жизнью во плоти, — обитель счастья?.. Чем ты заслужила это?.. Еще вчера ты чуть не пала, — жерт- вой любопытства и неосмотрительности! Несмотря на мои предостережения, ты не сумела противостоять грубым се- тям злонамеренного человека! И ты хочешь сразу остаться с избранными по заслугам? С нашими много страдавшими и многое сумевшими вынести и победить сестрами по ду- ху, до того высшими, чем ты, что ты даже и видеть их не- достойна!.. Посмотри вокруг себя: видишь ли ты кого?

Майя оглянулась, изумленная. Она еще ни души не ви- дала, кроме Кассиния и Софии; но теперь и той не было воз-

ле нее... Она считала себя в полном одиночестве со своим учителем.

Она так ему и сказала.

— Вот видишь ли!.. А между тем, у нас равные по заслугам видят друг друга всегда; тогда как высшим надо сделать усилие воли, чтоб их все видели..

— Как? — изумилась Майя. — Я ясновидящая! Я всегда вижу все! Все, — чего другие никогда не видят!

Белый брат усмехнулся.

— Не возгоржайся, бедная девочка! Не прибавляй нового препятствия к скорейшему достижению истинной высоты... *Что* ты видишь там, на своей пропитанной грехом и нечистотою земле? Пустые проявления сил природы или нечистые создания злой воли, злых помыслов человека! Посмотри: сюда и доступа нет этим недостойным, безличным, безвольным, отрицательным существам!.. А те, кого могут видеть лишь достойные, — для тебя невидимы. Прошу вас, братья и сестры мои: покажитесь ей! Подтвердите мои слова! — обратился Кассиний, величественно махнув рукой вокруг себя.

Майя отступила, пораженная. На миг все дубравы, поляны, холмы и зеленые кущи оживились ласково или печально улыбавшимися лицами. Величественные Белые братья и сестры, всех возрастов, кроме детства, всех типов и народностей, гуляли по рощам и долам, казавшимся ей только что до того уединенными, что она несколько раз порывалась спросить Софию, отчего нигде не видно людей?.. Теперь вот и София стояла снова перед ней, в группе нескольких других.

— Но отчего же я не вижу? — смущенно пробормотала молодая девушка. — София! Почему я перестала видеть тебя, как только подошел Кассиний?

— Потому что я перестала желать, чтоб ты меня дольше видала. Я стала не нужна тебе более! — ласково возразила София.

— Вот как! — печально промолвила Майя. — Я знала, что мы... То есть такие, как я, — поправила она, жестоко смущаясь, — достигают возможности становиться невиди-

мыми плотским очам людей, которые не одарены вторым зрением; но не думала, чтоб и я не все и не всех могла видеть...

И она глубоко вздохнула, едва сдерживая слезы.

— Не огорчайся, дитя мое!.. Это придет.

— Мы все прошли чрез эти стадии...

— Большинство было еще гораздо несовершеннее тебя... Ты еще так молода!

— Духовные силы развиваются нравственным самосовершенствованием... Работай над собою, совершенствуйся и достигнешь желанного, как мы его достигли! — приступили к ней со всех сторон с утешениями.

— А что будет, если я захочу вас увидеть? — сквозь слезы спросила Майя. — Если я употреблю на это желание всю силу своей воли?.. Быть может, это мне удастся?..

— Быть может... если мы не будем тому противиться! — улыбаясь, отвечала София. — Все дело в том, чья сила была бы сильнее. Тех из нас, кто отнеслись бы пассивно к твоему желанию, — ты, вероятно, увидала бы...

— Да! Сила воли — великий рычаг во всем и всегда. Поэтому благоразумные создания им злоупотреблять не должны! — серьезно сказал Кассиний. — Теперь не время и не место, Майя, для бездельных опытов... Я должен побеседовать с тобою серьезно, прежде чем ты возвратишься домой. Пойдем со мной... Здесь тебя, пожалуй, будет теперь смущать невидимое многолюдство; а я проведу тебя в совершенно уединенное место.

Кассиний пошел вдоль зеленой изгороди-стены до поворота и там исчез. Прежде чем свернуть за ним, Майя оглянулась и попробовала сосредоточить всю свою волю на желании увидеть хоть кого-нибудь из только что окружавших ее людей... Напрасно! Все снова превратилось для нее в цветущую пустыню.

— О, Майя, Майя! — укоризненно проговорил ожидавший ее проводник. — Как много должен я любить тебя, чтобы терпеть такое неповиновение!.. Мне следовало бы тебя тотчас вернуть назад и — предоставить твоей судьбе! Быть может, я не всегда буду иметь право так снисходить к

твоим проступкам! Смотри, Майя, чтобы непокорность и тщеславие не одолели твоих хороших качеств и не погубили тебя.

Пылая стыдом и раскаянием, свесив повинную голову, Майя вошла в маленькую дверь, пробитую в скале и, не смея возвысить более голоса, молча следовала за своим спутником по бесконечным подземным ходам, по сумрачным лестницам, куда-то высоко, высоко... Витая узенькая внутренняя лестничка все суживалась кверху и в спиральных своих поворотах все становилась круче и круче... Майе казалось, что они лезут на бесконечную колокольню.

Наконец они достигли круглой платформы, не более двух саженей ширины. Вокруг сплошных стен этой воздушной башни, на высоте человеческого роста начинаясь, а кончаясь под самым голубым хрустальным куполом в виде блестящего конуса, покрывавшим башню, как ясным сводом неба, шли один над другим, все уменьшаясь в объеме, семь рядов частых, круглых окошек. Их было по семи в каждом ряду, по семи вдоль и поперек этих оконцев без рам, — просто кружков матовых, белых стекол. Они представлялись снизу блестящими бусами, нитями жемчуга, семь раз охватившими островерхую вышку. В середине комнатки стоял стол со всем нужным для письма и к нему от каждой из этих блестящих бус были проведены проволоки, легко общавшиеся и разъединявшиеся со стоявшим на столе зеркалом.

— Садись! — указал ей Кассиний на единственный стул, стоявший у стола.

Майя повиновалась, не смея сказать, что она не устала...

XI

Белый брат прислонился возле нее к стене во весь высокий рост свой. Широкие, светлые одежды его падали тяжелыми складками до пола; небольшая темная борода,

вьющаяся, как и темные волосы, падавшие до плеч из-под золотистого головного убора, обвивавшего высокий лоб его наподобие древних уборов аравитян, красиво обрамляли его смуглое, правильное лицо. Серьезно, печально, почти сурово было оно теперь... Майя не смела поднять на него глаз, и сердце ее сжималось и тоскливо трепетало при мысли, что она оскорбила, огорчила своего учителя, которого так давно не видала, так жаждала увидеть!.. Она готова была пасть к ногам его, со слезами просить прощения и умолять, чтобы он ее не покинул во гневе; но ее сдерживало небывалое чувство боязни, она не смела прервать его раздумья... Кассиний, наконец, вздохнул и сам посмотрел на нее. Не гнев, а печаль была в его кротких, глубоких глазах.

— Я не сержусь на тебя! — сказал он, ясно видя ее мысли. — Мне только жаль тебя: ты еще далека от счастливой пристани... И в *этот раз* ты вряд ли окончишь миссию, возложенную на тебя искони!.. А желал бы я, чтобы ты сумела до того проникнуться желанием работать на благо человечества и всю себя посвятить этой великой задаче так беззаветно, чтобы желание это служило тебе броней и лучшей защитой от всяких жизненных соблазнов и искушений...

— О, Боже мой! Да какие же соблазны? Какие искушения может представить скучная, пустая жизнь? — вскричала искренне Майя. — Если б не жаль мне было отца — я умоляла бы тебя, Кассиний, не отсылать меня к ней более.

— Потому что ты не знаешь ее!.. Не знаешь ни ее горестей, ни наслаждений... И сохрани тебя от них судьба!.. Я надеюсь, что она окажется милостивой. Если бы ты сумела не поддаваться ранним увлечениям, не навлечь на себя неотвратимую силу закона возмездия, — неизбежную кару за грех, — юность твоя могла бы пройти без бурь... А в зрелых годах меньше опасностей.

— Так скажи же, скажи, что должна я начать!.. Научи меня, Кассиний!

— Да, я скажу тебе. Я попытаюсь, хотя не знаю, имею ли я право?.. Будет ли мне дозволено так рано, так легко, почти не испытав еще твоих сил в борьбе с жизнью, — ис-

хитить тебя из омута ее безумий, ее страстей!.. Не знаю, удастся ли?.. Но сердечно желал бы охранить тебя от искушений и гибели, если только удовлетворена твоя карма — неизбежный закон воздаяния...

— Какой жестокий! Какой ужасный закон! — страстно вскричала Майя.

— Вот опять пустая, необдуманная речь! — печально заметил Белый брат. — В законах Предвечной силы не может быть ни жестокости, ни снисхождения, а есть только высшая, непоколебимая справедливость. Люди *сами к себе* жестоки или милосердны: смотря по тому, какое сами себе готовят возмездие, — дурное или доброе. Земная и вечная судьба каждой души, воплощающейся в жизнь — в ее воле! Великий Учитель сказал: «Добрый человек, из доброй сокровищницы сердца своего, выносит плоды добрые; а злой человек, из злого сердца своего, приносит плоды злые!» И вот эти добрые или злые плоды свидетельствуют против него вовеки! Они его каратели и его судьи, пока он не искупит злых страданием, а добрые не искупят его самого, во спасение вечное его бессмертного духа. Многие думают: какое счастье облегчать страдания и печаль!.. — И так рассуждают многие, не додумываясь до простой сути, которая должна бы быть ясна даже младенцу, если б человечество правильно понимало свое назначение и цель бытия. Как думаешь ты, что составляет, собственно, личность человека: тело ли, данное на самый краткий срок, предопределенное уничтожению, или высшее, бесплотное его начало? Его бессмертное *ego* — дух, осмысливающий и одушевляющий эту бrenную оболочку?

— Как спрашивать об этом? — возразила Майя. — Разве может быть сомнение в таком, ясном ребенку, вопросе!

— А разве ты не знаешь, что, как золото в огне, — так дух человеческий страданием тела и нравственными испытаниями очищается и совершенствуется? Разве не знаешь ты, что исполнение закона воздаяния по заслугам столько же возмездие, сколько и стимул? Что никто не властен его отвращать?

— Знаю, без сомнения... Сколько раз ты сам объяснял мне, что даже самые лучшие люди так беспечны, что забывали бы и думать о приращении данных им «талантов» и зарывали бы их в землю, по притче евангельской, если б горести и болезни не являлись стимулами их нравственного развития...

— А если ты так хорошо запомнила это, так можешь ли дивиться, что мы не являемся тотчас на помощь, как только видим где-либо материальную нужду или недуг?.. Ведь тут спасение было бы на гибель!.. Нет, друг мой! Пусть уж слепые к истине или преднамеренно от нее отвращающиеся прельщаются людей скоропреходящими благами... Не наше дело заботиться о временном в ущерб вечному!

Он подошел к столу и, взяв в руки одну из проволок нижнего ряда стекол, приложил ее к зеркалу и сказал:

— Смотри в зеркало, Майя, и скажи мне, что ты видишь?

Майя устремила внимательный взор на стекло.

— Я вижу что-то очень смутное, очень темное!.. — заговорила она через минуту тихо и медленно, будто вдумываясь в каждое слово. — Какой-то хаос!.. Что-то движется, будто бы; но ничего не разобрать!.. погоди! Вот что-то блеснуло... Огонь?.. да! огонь. О, как это красиво! Как величественно!.. Это небо... Пространство... да! Темное воздушное пространство, и на нем отделяются искры... Звезды!.. Лучи и... какой-то огненный шар. Он все ближе! Растет... словно бы расплавленная планета вся кипит и вся движется разноцветными огнями!

Майя вдруг подняла голову и глаза на неподвижно стоявшего возле нее Белого брата.

— Что это, Кассиний, — спросила она, — у тебя тоже магическая проволока, как у...

— Молчи! — властно остановил он ее на полуслове: — не произноси здесь имени этого несчастного!.. Та сила, которой действия он вам показывал, — одна только искра, грешно добытая искра великого света, действующего здесь. Чрез эти проволоки в зеркале отражается то, что видно в те стекла, там, наверху: все, что искони веков и навеки запечатлелось в астральных лучах мироздания... Это карти-

ны из «Книги Завета». Списка прошлых, настоящих и грядущих событий... Видишь ты эти семь ожерелий из семи бус каждое?

Он указал на ряды круглых окон.

— Это семь периодов, семь круговращений нашего цикла времен. В первом, нижнем ряду, ты увидишь, постепенно меняя проволоки, прохождение нашего мира, — не всего мироздания, а лишь нашего земного шара с его спутниками, на видимом нам горизонте; прохождение его чрез элементарные видоизменения: век минеральный, растительный, животный, до происхождения человека, — высшей земной формы. Ты видела начальный, вулканический период. Приложи вторую проволоку, и тебе представятся картины века минералов... Видишь?..

— Вижу!..

Перед ней был теперь тот же земной шар, но уж остывший, распавшийся на моря и сушу; испещренный горными цепями, скалами со сталактитовыми пещерами и снеговыми вершинами. Снежные цепи и льды северного полушария сияли в ярких солнечных лучах, как алмазные покровы; южнее, кое-где еще искрились и пылали растопленной лавой кратеры огнедышащих гор; бесплодные степи желтели на материках, словно разостланные ковры, но растительности, зелени нигде еще не было заметно. По мере медленного вращения этого изображения первобытной земли пред ее глазами, Майя замечала, что серые, бурые и желтоватые материки, резко обозначавшиеся на зеленоватых и голубых водах океанов, переливавшихся всеми тонами от светлой бирюзы до темного изумруда, — имели совершенно другие очертания, чем нынешние части света... Она заметила об этом своему учителю.

— Еще бы! — возразил он. — Сколько же катаклизмов с той поры изменяли их форму! Сколько раз материки покрывались водами; моря превращались в пустыни, а на океанах возникали острова, и громаднейшие горные вершины выбрасывались под облака из глубины пучин. Если пожелаешь, ты можешь видеть один из этих страшных переворотов... Вообще, знай, что отдельные картины данных

периодов зависят от твоего желания...

И точно! Не успело такое желание возникнуть в уме ее, как перед Майей воочию разыгрались страшные картины разрушения, один из великих космических переворотов, изменивших положение земного шара. Но все же отдельные части земной поверхности не стали еще похожими на их настоящие размеры и формы... Для того, чтобы Майя могла узнать нынешнюю Азию и Африку, Кассинию пришлось еще раз и другой переменить проводник света; показать ей периоды, когда на бесплодной почве сначала появились лишай, мхи, папоротники; когда, наконец, земля покрылась растениями, зацвела и отенилась, давая приют и пищу исподволь, несмело, словно прячась и крадучись, проявлявшейся на ней кой-где жизни...

ХП

Все с возрастающим интересом следила Майя за «оживлявшейся» землей, поочередно приходя то в ужас, то в восторг от разнообразных зрелищ, отражавшихся в магическом стекле с поразительной живостью и полнотой. Кассиний дополнял описаниями и объяснениями то, что было в этом зрелище непонятого «непосвященному» уму молодой девушки.

— Ты изумляешься яркости красок, жизненности всех подробностей, передаваемых этими отражениями? — говорил он. — Но как же может иначе быть? Ведь это не преходящие краски, они не подвержены действию разрушительных сил, — это вечные, непрестанные снимки лучей предвечного сияния. Собственно, этот «астральный свет» — есть низший принцип космического начала, которого высший принцип — великая «Аказа», — мать и источник всего. Разлагаясь лучами, всюду проникающими, — свет этот все воспринимает всецело и навеки. В нем запечатлено все, — от самого великого до самого малого! Не только все материальное, — но каждое слово, каждая мысль, каждое наме-

рение человечества! Ничто не сокроется и ничто не исчезнет из этой великой сокровищницы, из этой кладовой мироздания!.. Она пассивно, неустанно воспринимает события, формы, душевные движения, — безразлично, неподкупно, все обессмертивая навеки... В этих великих скрижалях каждое создание — материального ли, или духовного мира, — в конце концов прочтет о себе все, от альфы до омеги, и всего себя узрит, во всех фазисах своего внешнего и внутреннего бытия. В них же непосвященные смертные часто почерпают свои сны, свои пророческие видения; а более развитые духовно могут, по воле, к ним обращаться за всякими сведениями. Но в возможности, в *уменьи видеть* — есть различные степени...

Майя оторвалась глазами от вещего зеркала и устремила их вопросительно на лицо своего учителя.

— А можно рассказать людям все то, что я прочту здесь?

Она указала на зеркало.

Кассиний, молча, наклонил утвердительно голову.

— В общем, это не будет новостью для них, — ответил он, — но им известно далеко не все, даже из этих первичных периодов, которых несколько поверхностных изображений ты сейчас видела, и которые представляют наименьший интерес. Промежуточные эпохи, с их бесконечными переворотами, с их явлениями в материальном и духовном мире; с их зарождением фаун и новых человеческих рас; с расцветом цивилизаций, падением их и конечным исчезновением на пользу и процветание вновь зарождавшихся и вновь бесследно исчезававших деятелей, — эти эпохи даже в гипотезах не представлялись ученым. О влиянии же невидимых сил на природу; о деятельности агентов, которых существования даже не допускают слепые светочи западной науки, — я и говорить не буду!.. Ты сама знаешь по опыту, до чего люди глухи и слепы... Теперь мы живем в *«Черном веке»* отрицания и грубого материализма. Но приближается новый, пятый цикл, в продолжение которого духовной стороне творения суждено, наконец, восторжествовать над одолением грубой плоти.

— О! дай Бог, чтобы скорее наступило такое время! Как ты назвал его? Новый цикл?

— Да, пятый «Юг» — так мы на Востоке называем круг многих веков, многих тысячелетий. Этот цикл или круг времен, вероятно, будет назван веком «Прозрения».

— «Возрождения», быть может? — восторженно прервала Майя.

Белый брат отрицательно покачал головой.

— Хорошо, если б следующий, — шестой удостоился такого названия, — сказал он. — Первый цикл носит прекрасное наименование. Его называли «Сатиа-Юг» — век правды... Но последующие утратили права на светлые прозвища; а наш четвертый вполне достоин называться «Черный Кали-Юг», так зовут его у нас, — и правы! Ибо не было от века круга времен чернее настоящего.

Кассиний умолк, задумавшись глубоко, в то время как Майя вновь углубилась в созерцание картин первобытной земли, со всеми красотами ее флоры и всеми величественными ужасами ее баснословно-фантастической фауны. Громадные пресмыкающиеся, крылатые гады, птицы-драконы, чешуйчатые исполины, — черепахи-слоны и млекопитающие гиганты, словно движущиеся горы, шевелились перед ней, извивались, вздымались в уровень с деревьями, налетали друг на друга, вступали в борьбу и один другого пожирали, топили, уничтожали. Грандиозные и страшные зрелища ей показало шестое окно!.. Но едва взялась она за седьмую проволоку нижнего яруса, надеясь увидеть, наконец, человека, — Кассиний опомнился и наложил на нее руку.

— Нет! — сказал он. — Довольно... Теперь пора тебе возвратиться домой, иначе мы погрешим против первой заповеди нашего закона: против милосердия. Твой сон, Майя, продолжается слишком долго. Отец твой в тревоге!.. Да и нет пока тебе нужды здесь долее оставаться. Ты теперь знаешь, какая задача ожидала бы тебя, если б ты вошла в обитель нашу непорочной, чистой сердцем и помыслами, какой была доньне. Еще скажу тебе: ты видела шесть периодов первого цикла веков. Следующее, седьмое окно по-

казало бы тебе первобытных людей, ведших жизнь простую, близкую к природе, от которой еще они не успели отдалиться, едва пройдя первые стадии бытия. Следующие за первой цепью шесть остальных ярусов окон могли бы показать тебе дальнейшее развитие человеческих рас; мировых или частных событий в истории наций, стран или отдельных личностей, — по твоему желанию и по твоим запросам. Во втором, третьем и четвертом, — в котором заключается наш цикл, — ты бы все, вероятно, видела. Но на конце *Кали-Юга*, думаю, твоя способность видеть и остановилась бы, — пока... *Будущее* ты теперь не увидела бы.

— Теперь, если хочешь, возьми проводник последнего стекла из четвертого ряда, — из нашего Кали-Юга, и, что бы ты ни пожелала видеть, оно тотчас тебе покажет. Знай, что первая мысль твоя, о ком или о чем бы то ни было, — тотчас приведет в соотношение с зеркалом тот самый луч света, в котором отражается, в данное мгновение, то лицо или тот предмет, о которых ты подумашь...

«Что делается дома? Что мой отец?» — невольно мелькнуло в мыслях Майи в ту же секунду.

Кассиний уже прикладывал к стеклу проводник последнего, седьмого стекла в четвертом круге и, приложив его, говорил:

— Ну, прощай, Майя. Не забывай нашей обители и борись с жизнью, чтобы к нам возвратиться... А талисман мой береги! Он от многого охранит тебя... Еще совет: чуждайся света и тщеславных его развлечений!..

Последние слова Кассиния едва долетели до Майи, слабо, издалека...

Она увидела отца, стоявшего на коленях у ее изголовавшей; увидела еще какую-то незнакомую молодую даму, вливавшую капли в ложку из темного маленького пузырька, привстала и удивленно сказала:

— Папочка! Что с тобой?.. Ты, кажется, плачешь?.. Успокойся, милый!.. Я здорова!

Крик радости был ей ответом.

— О, Майя, Майя! До чего ты напугала меня!.. Боже мой. Знаешь ли ты, что вот другие сутки ты спишь без про-

сыпу!

— Неужели?.. Зато, ах, папа! Где я была!.. Какой я сон видала! — поправилась Майя, вспомнив о присутствии незнакомой женщины. — Я после расскажу тебе, — прошептала она отцу на ухо.

— Хорошо, хорошо!.. Слава Богу, что все благополучно кончилось... Это, вероятно, ваши капли, милая кузина, помогли моей Майе... Вот, Майя, — поблагодари нашу добрую, милую новую соседку, — мою кузину, — Софью Павловну Орнаеву. Она вчера приехала...

При этом имени Майя вздрогнула.

— София?.. какая София, папа?.. О ком ты говоришь?

— А вот, моя душа. О Софье Павловне Орнаевой... Она всю ночь над тобой просидела...

Гостья, очень красивая женщина средних лет, но казавшаяся гораздо моложе, склонилась к Майе, ласково улыбаясь.

— О! *Cousin*, не беспокойте *m-lle Marie*... Еще успеем познакомиться. Я так рада, что она очнулась... Вернее — *проснулась*, так как она уверяет, что прекрасно спала и видела золотые сны. *N'est-ce-pas, chère mademoiselle Marie?*

— Да... Только, пожалуйста, — не называйте меня так... Меня никто, кроме... впрочем, все равно! Все зовут меня просто Майей...

— Прелестное имя! — начала было Орнаева. — *Je ne demande pas mieux...*

Но Майя вдруг встала на кровати, обвела всех беспокойным, печальным взглядом и, схватив за руку отца, прошептала:

— Папа! А что Газель?.. Снился мне этот ужас или, в самом деле, он задушил ее, этот самозванец? Этот отвратительный колдун!

Профессор, испуганный, растерянно смотрел на дочь и отвечал как можно мягче:

— Душа моя! Успокойся... Тебе померещилось...

— Неужели?.. Газель жива?!

— Нет, голубушка моя! Майинька! Дорогая!.. Ведь мы все видели: бедная Газель задушена волком!.. Она, помнишь,

— всех нас напугала... И ты, и я, и весь дом сбежались вчера ночью, когда бедная собака выбила дверь, почуяв зверя, бросилась в сад и прямо наскочила на волка...

— Так вот как вы все объяснили? — проговорила Майя, как бы про себя, усиленно что-то соображая. — Нет, папа, того волка, который задушил мою бедную, славную Газель, к несчастью, никто не убьет.

Она овладела собой и обратилась приветливо к незнакомой родственнице, благодаря ее за заботы.

— Если ты в самом деле здорова, Майечка, — несмело заметил отец, — может быть, ты встанешь?

— О, да! Непременно! — к величайшей радости его уверенно сказала Майя. — Я сейчас оденусь и сойду вниз.

— Да?.. Вот и отлично!.. Так пожалуйста, Софья Павловна!.. Пойдемте ко мне, пока эта негодная, напугавшая нас так крепко барышня встанет и оденется. Пожалуйста!

И профессор любезно подал руку гостье и повел ее вниз, в то время как Майя с невольным неудовольствием думала:

«Откуда взялась она? Соседка?!! Никогда не слышала, чтоб она тут жила поблизости...»

ХІІІ

Так неожиданно проявившаяся родственница Ринарди очень часто стала навещать их. Однако, сверх ожидания, она оказалась премилой и презанимательной. Ни профессор, ни дочь его нимало не тяготились ею. Напротив, никогда и ни с кем Майя так близко и скоро не сходилась, как с этой остроумной, весь свет объездившей и, по-видимому, чрезвычайно добродушной женщиной.

Софья Павловна Орнаева была вдова, известная красавица, схоронившая двоих мужей и, как говорили злые языки, была не прочь найти, а, пожалуй, и схоронить еще и третьего... Особенно, если бы он отличался благородными преимуществами «*de ses deux anciens*», — а именно, был бы

богат не менее ее «покойников», оставивших ей большие деньги.

Злая молва опять-таки говорила, что за последние года непрерывных перемещений по белу свету, во время которых прелестная женщина не только *видала виды*, но и жила в свое удовольствие, не считая денег, — она значительно растрясла по чужестранным дорогам российские кошны своих супругов; но этого совсем не было заметно по образу жизни, который она продолжала вести.

На берега Балтийского моря Софья Павловна попала совсем неожиданно, по непредвиденной ею необходимости; но об этом факте она хранила строгое молчание, а рассказывала, будто ее давно влекло на эти живописные, дикие берега... Ей надоела Европа! Надоели все страны света, которые она изрядно объездила; а более всего надоели дальние путешествия. Эту зиму она задумала прожить в Петербурге, но прежде водворения на зимние квартиры ей вздумалось проехать посмотреть продававшуюся поблизости от имения Ринарди мызу. Ей захотелось иметь дачу в этих местах, проводить иногда летний месяц или два в «одиночестве»...

Так она говорила, но такие анахоретские намерения не были заметны в ее образе действий. Начать с того, что она скромной мызы не купила, а задумала нанять поблизости целое аббатство, — старинный замок, несколько лет стоявший пустым, хотя поддерживавшийся в порядке. Оказалось, что она интимно знакома с его владельцем, безвыездно проживавшим в Париже. Она ему написала, а тот ответил любезным посланием, предоставлявшим в ее распоряжение на зиму, лето — «*et bien d'autres saisons, à discretion illimitée*», — хоть навсегда, это «совиное гнездо» его знаменитых рыцарей-предков, «со всеми его крысами и привидениями, *par dessus le marché!*»

Разумеется, оказалось, что для житья в этих залах и башнях требуется много приспособлений, поправок и новой обстановки. Позолоченная мебель, инкрустации, штофы и гобелены были очень декоративны, но грозили быстрым разрушением при употреблении серьезном, — не как деко-

рации, а как обыкновенной мебели... Пришлось выписывать обойщиков, столяров с приличным материалом; а пока они работали и устраивали по-царски резиденцию новоприезжей, она сама, по приглашению профессора, переехала из города к нему, чтоб быть поближе к будущему месту жительства.

Раз поселившись в целом замке, решив к тому же, что проживет там осень, а может быть, и всю зиму, Орнаева, весьма натурально, пришла к заключению, что она «одна с крысами и рыцарскими привидениями» умрет в нем не только со скуки, но, пожалуй, и со страху... Произошла капитальная диверсия в намерениях бывшей красавицы, метившей было в будущие анахоретки: приглашения и письма полетели во все страны; знакомства, посетители, старые и новые друзья посыпались в замок по всем дорогам, из всех стран света...

Так, по крайней мере, казалось Ринарди и его дочери, никогда не выдавшим в своих окрестностях такого оживления и многолюдства. Разумеется, и к ним посетители стали наведываться гораздо чаще; да к тому же «милая соседка» не давала им ни задумываться, ни засиживаться дома: она была из таких, что мертвых поставят на ноги, если живых от них поблизости не окажется. В ней столько было жизни, энергии, желания всех веселить и самой со всеми веселиться, что тишины и спокойствия возле нее быть не могло. Замок Рейхштейн до того всегда был полон гостями, что Майя уверяла его временную хозяйку, что все привидения, не только замковые, но изо всех окрестностей, наверное, материализовались, чтоб принимать участие в ее празднествах. Ей, никогда не выдавшей таких многолюдных собраний, серьезно казалось подчас, что они не совсем естественны... Рауты Орнаевой ей часто напоминали пестрые сборища не от мира сего, — ее прежние видения, сокрывшиеся для нее, как видно, навсегда после того, как побывала она в приюте Белого братства. «Приютом мира» — называла его Майя, рассказывая о нем своему отцу и в дневнике своем, в который записала от слова до слова все, что произошло с ней в том очарованном месте, куда

она стремилась всем бытием своим, каждую ночь надеясь, что будет призвана, и каждое утро просыпаясь опечаленная несбывшейся надеждой... Не только не бывала она более в семиоконной вещей башне или на мраморном холме Белых сестер, но проходили недели и месяцы, а она все еще не видала Кассиния и не слыхала его голоса.

Майя Ринарди, несмотря на все старания Софьи Павловны оживить и развлечь ее, первое время не поддавалась ее стараниям, хотя — странное дело! — она не тяготилась ни ими, ни обществом ее. Она не любила больших сборищ в Рейхштейне; но хозяйку его охотно посещала и еще более любила видеть ее у себя. Орнаева имела счастливое свойство всем нравиться, владела средствами на все вкусы; она к тому же усиленно заботилась о дружбе и доверии Майи; а Майе — увы! — изменяли, со всяким днем полнее, ее прежние способности ясновидения и даже прозорливости.

Этот упадок духовных сил дочери вскоре заметил и профессор, хотя Майя, по-прежнему старалась помогать ему и теперь часто даже принимала участие в практических опытах отца в его лаборатории, куда она прежде совсем не допускалась из-за страха ее живой, смелой деятельности. Теперь ее полудетская живость совсем исчезла. Ринарди не узнавал своей прежней, веселой, ни над чем не задумывавшейся помощницы, до того она стала спокойна и равнодушна ко всему.

Зима пролетала в вечных треволнениях, незнакомых доньше отцу и дочери. Среди постоянных отвлечений от дела, не видя к тому же в нем никакого успеха, профессор терял способность и желание заниматься исследованиями своих изобретений, остановившихся на точке замерзания. К тому же с ним в последнее время стало твориться что-то странное, совершенно небывалое: он положительно начал предпочитать общество Софьи Павловны своим научным занятиям.

Он уверял себя, что ее общество, ее разговор имеют для него научный интерес. Она столько знала, столько видела и так красноречиво рассказывала! Он невольно заслуши-

вался. В особенности любил он слушать ее у себя в кабинете. По ее просьбе он с нею делился своими знаниями и показывал ей интересные опыты в области механики и химии. Ее особенно занимали проявления сил электричества. Она даже выказывала знания, необыкновенные для женщины, по этому предмету, и с увлечением беседовала об этом.

Судьба, будто бы сжалившись над потерей профессором участия дочери, послала ему новую собеседницу. Теперь очень часто Майя была у себя, наверху, училась, занималась музыкой или живописью, а отец ее «работал» в присутствии Орнаевой, в своих комнатах. Он, не шутя, был убежден, что *работает* и что его прелестная кухня ему не мешает, а помогает в научных его трудах. Он даже ей говорил, что присутствие ее его вдохновляет.

— Ну, что ж! — шутя, сказала она. — Я очень рада быть вашей нимфой Эгерией, если вы желаете стать Нумой Помпилием. Хватило бы только мудрости.

— У меня или у вас? — спросил профессор.

— Ну, разумеется, у меня! — расхохоталась Орнаева.

— У вас-то хватит! Недаром зовут вас Софией... Вам, конечно, известно, что значит ваше имя?

— Да, кажется, наука, знание?

— Вот именно. «Мудрость» — небесная дева, которой поклонялись гностики и которая не раз воплощалась в образ прекрасной женщины, чтоб вдохновлять ученых. Право! Не верите? Я докажу вам.

Ринарди снял с полки своей библиотеки старинную книгу и, найдя страницу, подал ей.

— Прочтите... Это письма розенкрейцера Гихтеля о его любви и духовном союзе с таинственным существом — «лучезарной красавицей *Софией*», долгие годы помогавшей ему в научных занятиях его. У меня есть и еще о них книга — «*Древние верования, воплощенные в древних именах*». Ваше имя одно из самых древнейших... Так хотите прочесть?

— Давайте. Но кто этот чудака? Как вы его называли?

— Гихтель. Известный германский мистик, оккультист; член братства розенкрейцеров, живший в середине XVII века. Извольте послушать, что он писал вам...

— Мне? Помилосердствуйте!

— Софии! Не вам, так вашей тезке, с которой вы многим сходны... Послушайте.

И профессор прочел:

«Божественная Мудрость, во образе небесной девы Софии, явилась мне впервые воплощенной в день Рождества Христова, в 1673 году. Вид ее был величествен и прекрасен. Она сияла белизной своих одежд и осияла меня светом своих божественных знаний».

— А вот, позвольте, тут дальше:

«София — воплощение премудрости и истины в возрожденном духовном теле. О! сколько в тебе силы, и мощи, и власти в исполнении душ, тобою избранных, светом предвечной правды, блаженством чистейшей, неиссякаемой любви!...»

— Вот какие чародейки бывают Софии, Софья Павловна. *Dérogerez vous a votre* пом?.. Не думаю, чтоб вы опровергали вековечную славу вашего имени.

Орнаева очень мило смеялась. Только присутствие дочери заставляло ее несколько умерять свое кокетство с отцом.

XIV

Раз Орнаева просила Ринарди рассказать ей об *увеличителе* Велиара.

— Мне кажется, я слышала о чем-то подобном! — сказала она.

Профессор с готовностью исполнил ее желание и, закончив свои объяснения, спросил:

— Вы знаете, вероятно, барона? Встречались с ним?

— О, нет! Никогда. Почему вы думаете?

— Он человек такой известный. Я думал, вы встречались в Париже. Вы сказали, что слышали о его увеличителе?

— Не об его увеличителе, собственно, а о подобном изобретении; о средствах его устроить. Закалить как-то проводники надо. Каким-то особым огнем...

Ринарди посмотрел на нее в изумлении.

— Да, да!.. Позвольте... Я знала... Вспомнить бы!

Орнаева встала, сосредоточенно устремила в пространство взгляд и, будто читая перед собой невидимые слова, медленно, явственно произнесла:

— «Священный, первобытный, бесконечный, вечный, божественный огонь, который есть — оплодотворение, усовершенствование, в коем сила, жизнь, любовь — все!» Откуда это? Узнаете вы эти слова?

— Слова — не знаю, откуда! Но их отвлеченное значение мне ясно, — ответил профессор в восторженном изумлении. — Но откуда вы их знаете?

— Откуда? Да, теперь вспомнила: у меня есть целый трактат об этом огне и возможности его добывать.

— У вас? — вскричал профессор. — О, Боже мой! Откуда?

— Откуда? От самого графа Калиостро, блаженной памяти! — рассмеялась Орнаева. — Не верите? Вы забываете наших общих предков, милый братец: прадедушку нашего, сен-симониста, чародея, предсказателя — *chevalier Constant d'Yzombard*, казненного во время террора. Забыли?

— Нет, помню... Но, как же...

— Как его бумаги попали ко мне? Очень просто: прабабушка *d'Yzombard*, с своею дочерью, которая, как вам известно, была матерью моей матери, а вашей *grande tante*, успела заранее перебраться в Италию и увезла туда все бумаги мужа своего. А в них оказалась целая переписка с его другом, графом Александром Калиостро, иначе сицилийцем Джузеппе Бальзамо.

— И она цела, эта переписка?

— К несчастью, ее и следы исчезли!.. Но одну рукопись деда мать моя сохранила и мне передала. И я ей очень за нее благодарна, теперь больше, чем когда-либо, потому

что могу ее передать вам. Это — руководство к добыванию именно этого таинственного огня, «*первобытного, божественного*», в котором и дух, и материя, и любовь, и «*все во всем*»... Из этой рукописи я и запомнила сказанную фразу.

— И вы мне дадите эту рукопись, Софи?

— В вечное и потомственное владение, милый мой!.. На что мне она? У меня детей нет: некому, кроме вас, в семье нашей, всегда отличавшейся духом мистицизма, его пропагандировать в потомстве. Берите ее и с ее французским переводом, приложенным к латинскому оригиналу.

— Неужели писанному самим Калиостро? Вы меня просто благодетельствуете, кухня!

— А, право, не знаю, очень вероятно. В переводе прадеда сказано только, что он ему дал этот драгоценный документ, добытый им где-то в храмах Египта или Халдеи. Граф Калиостро относил его к учению провозвестника гностицизма, иудейскому *Симону Магу*.

— Да, это драгоценность! Это просто клад! Исторический и библиографический клад; уж не говоря о научных и оккультических тайнах, которые, быть может, в рукописи заключаются! — восторгался Ринарди. — Как это вы раньше не сказали мне об этом, Софья Павловна? Вот уж настоящая просветительница моя, премудрая София, носительница божественного огня!

Орнаева хохотала, очень довольная.

— Огонь, по указанию рукописи, точно, надо добыть божественный или, по крайней мере, небесный. Там, я помню, сказано, что каким-то образом «*седьмая молния седьмой весенней грозы*» должна воспламенить проводник электричества; разумеется, еще при разных условиях и всевозможных таинственных приспособлениях! — рассказывала она.

— Какое счастье, что вы не отдали никому рукописи! — воскликнул профессор.

Пришла Майя, и Ринарди стал восторженно рассказывать дочери о том, что ему сказала Софья Павловна и как она его благодетельствует, отдав ему рукопись.

Майя, конечно, была очень довольна за отца; а гостя их казалась еще довольней, она ласково упрасивала Майю непременно на днях приехать в Рейхштейн на целый день.

— Не бойтесь, милая, — презираемых вами танцев не будет. Приезжают все серьезные люди, и между прочими Бухаров, — вы знаете, — известный живописец. Он мой большой приятель! У нас с ним маленький заговор против вас, предупреждаю.

— Насчет живых картин? — спросила Майя, которой Орнаева говорила уж о затеянных ею картинах.

— Да, и насчет живых картин также; он мне поможет их поставить. Но и кроме того. Бедный Бухаров в отчаянии, что нигде не может найти хороших типов Эдипа и Антигоны для своей исторической большой картины.

— Ну?

— Ну, вот я его тоже хочу облагодетельствовать: я написала ему, что нашла для него здесь живые оригиналы его типов, чтоб приезжал.

— Это кто же такие? — слегка краснея, спросила Майя.

— Кто? Вы не догадываетесь?

Орнаева бросилась целовать молодую девушку.

— Вы и отец ваш — воплощение этих величественных мифов... Ни-ни!.. Не протестуйте! Вы должны для меня согласиться осчастливить моего приятеля! Вам это ничего не стоит. Вы ему доставите лишний лавр в его венок великого художника; а он вам даст ваши портреты, писанные рукой мастера. Ведь Бухарова портреты ценятся на вес золота!..

XV

Уютно было в девичьей комнате Майи. Широкое окно и дверь на балконе светились белой зимней ночью. В середине комнаты стоял письменный стол. Направо занавесы алькова были приподняты, и там белела постель, освещенная горевшей на ночном столике лампой под голубым абажуром.

Печально задумалась Майя. Ей было о чем горько задуматься. Вот уж много недель, что ей нечего было записывать в свои дневники: ее живые видения, с которыми она сжилась до того, что они казались ей неотъемлемой принадлежностью ее существования, все ее ненормальные способности, которые так ярко красили ей жизнь, — очевидно, исчезали. Она теряла свою *вторую* жизнь!..

Она могла еще примириться с тем, что перестала видеть странных созданий не от мира сего, окружавших ее с колыбели, никогда не оставлявших ее в одиночестве. С той поры, как она узнала двусмысленные свойства и часто нечистое происхождение этих эфемерид природы, Майя не особенно горевала, что не видит более ни уродливых, ни даже чудно красивых их представителей. Но теперь с ее горизонта равно уходили и другие, чистые, благодетельные создания, наполнявшие доныне светом и смыслом всю жизнь ее, руководившие ею, как добрые наставники послушным ребенком.

Вот что безмерно ее смущало, страшило и огорчало!

Кассиина она теперь не видала более двух месяцев. Софья и таинственные сестры ее, никогда не посещавшие ее вне сна, в ее повседневной жизни, как прежде постоянно посещал ее Белый брат, правда, мерещились ей иногда. Раз даже она увидала себя снова в их волшебном приюте. Они ее старались утешить в предполагаемом ею «забвении» друга детства ее и юности... Они говорили о нем, смеясь над ее страхом, не признавая возможности этого «забвенья», уверяя, что он удаляется для ее же блага... Пусть ее ждут великие тревоги искушения и печали: все в мироздании должно очищаться, проходя чрез горнило испытаний и несчастия...

«Тем лучше для тебя, — слышался вдруг голос, — тем легче тебе идти верным путем; уметь распознавать добро от зла и выбирать благое...»

Что это?... Кто это говорил с ней?

Майя оглянулась... Никого не было возле нее. Она стояла у своего стола, опершись на него одной рукой, другую прикрыв глаза в глубокой задумчивости.

Давно ли она стояла так, забывшись? Она сама не знала... Но, судя по глубокой тишине, царившей в доме, все уже спали в нем. Белая, месячная, морозная ночь смотрела по-прежнему в окна... Вдали пропел петух и внизу, где-то, мерно и гулко часы пробили двенадцать ударов...

«Уж полночь? Так скоро?.. — подумала Майя. — А я еще собиралась писать... Да что мне писать?.. Нечего!.. Все пусто, холодно, скучно!.. Отец, и тот больше во мне не нуждается... Тоска!»

«Тоска и уныние, когда жизненные испытания и не начались еще?.. Разве так готовятся на брань с неправдой и злом!.. Стыдись, малодушная, безверная, бессильная!» — услышала снова Майя все тот же, давно ею не слыханный голос.

Радостно забилося ее сердце. Она встрепенулась, обвела комнату ожившим взглядом, выпрямилась и, широко открыв глаза, сияя радостной улыбкой, прямо пошла к дверям балкона.

Оттуда, из парка снизу, летели к ней мелодичные, как звуки арфы, призывные аккорды, говорившие ей: «Я здесь!.. Я жду!.. Иди же!..»

И она шла... Шла по видимой ей одной дороге, — по сиявшей розовой радуге, переброшенной аркой из глубины парка в средину ее комнаты. Там, вдали, не в снежных сугробах, а в кущах молодой зелени, зацветающей черемухи, роз и сирени, стоял верный друг ее, улыбаясь ей приветно, но с опечаленным взглядом.

Утром горничная, войдя в обычный час в спальню барышни, отступила в изумлении: постель ее была не измята, лампа догорала на ночном столике, а сама она мирно покоилась, запрокинувшись в глубоком кресле. Правая рука ее свесилась, и перо выпало у ней на пол; очевидно было, что барышня писала всю ночь и, утомленная, крепко заснула под утро. Горничная удивилась только тому, что барышне вздумалось писать в темноте: на письменном столе ни свечи, ни лампа не были зажжены... Или так уж ночь была светла, что освещения не понадобилось?

Майя проснулась довольно поздно и очень смутилась тем, что, не раздеваясь, заснула и всю ночь проспала в кресле. Она позвонила горничную, чтоб спросить ее об отце. Она знала, что опоздала к утреннему завтраку.

Оказалось, что он давно позавтракал один и, приказав сказать барышне, что будет к обеду дома, — поехал по делу в Рейхштейн.

Майя даже обрадовалась своей свободе... Ей было необходимо сосредоточиться, многое обдумать; наконец, перечесть записанное ночью: все ли она вспомнила, простившись с ним?.. О, Господи! Быть может, навсегда!.. Кто знает? Всю свою волю, всю энергию приложит она к тому, чтоб устоять в искушениях, победить, завоевать свое торжество, свое вечное благо!... Но сам он говорит, что трудно это, — почти невозможно!..

Она боролась с душившим ее горем; но, едва одевшись и наскоро выпив чашку чая, осталась одна, не совладала с собою и вновь залилась слезами.

Теперь она, перечитав записанное, уж знала достоверно, что более не увидит и не услышит ни Кассиния, и никого, и ничего из *того*, другим неведомого мира, которым была окружена, научена, поддерживаема доньше.

Кассиний сам ей это сказал, он приходил проститься...

— Не нужно слез! Не нужно малодушия! — говорил он, прощаясь. — Разлука со мной — первый иску́с, который ты обязана выдержать, не падая духом. Только сильный волей способен умерять свои страсти и прозреть *истину*, в коей все блага...

И именно такие люди нужны для блага мира, — а не слепцы малодушные, не умеющие справляться со своими личными, себялюбивыми чувствами!

Это были последние слова, последнее его поучение. Она запомнит их навсегда! — Неужели не найдет она достаточно в себе силы, прозорливости и стойкости, чтоб пройти прямым путем? Преодолеть препятствия, победить врагов, прежде всего начав с самой себя. Она не позволит с первых шагов малодушию и страху овладеть собою...

И едва решимость эта возникла в молодой девушке, она почувствовала прилив энергии и сердечной бодрости.

Она встала, горделиво выпрямилась и даже улыбнулась. В уме ее с поразительной ясностью возникла величественная фигура Кассиния... Она видела перед собою его ободрительный взор, его довольную улыбку. Она закрыла глаза, чтоб дольше сохранить в душе своей его сиявший отблеск, и торжествующе улыбнулась.

«Сон? — мелькнуло у ней. — Ведь кому не скажи — никто не поверит!.. Для иных мои рассказы — сны; для других — ложь; для всех — невозможность и сказка!.. Никому не надо говорить о Кассинии. Никому, — ни даже отцу!.. Скажу только, что распростилась со своими видениями навеки, — пусть будет он спокоен, — я в своей душе схороню все это... Пусть все уверятся, что это был сон, обман воображения, мираж, — *Майя*. Такая же Майя, как я сама; как все на свете в этом видимом, обманном, скоропреходящем жизненном круговороте...»

Профессор Ринарди между тем, приехав в замок слишком рано по образу жизни его временной госпожи, нетерпеливо ходил по картинной галерее, в десятый раз осматривая портреты рыцарей и дам баронов Рейхштейн в ожидании, пока кузина его выйдет к нему.

Софья Павловна в то утро имела право подняться поздно; она слишком поздно легла накануне, несмотря на раннее возвращение домой, и вообще провела дурно ночь.

Войдя с вечера в свою спальню, она быстро разделась и, набросив пеньюар, села к письменному столу с намерением заняться своей всесветной перепиской, как вдруг ее внимание было привлечено мраморной доской камина, по которой, ей показалось, пробежал фосфорический огонек...

Орнаева вздрогнула и побледнела.

«Что еще?.. Чем еще он недоволен?» — мелькнуло у ней.

Она, как трусливый ребенок, на секунду зажмурилась, отвернулась от камина и попробовала подумать, что ей так показалось...

«Отблеск свечей... Какое-нибудь блестящее отражение!» — самое себя уверяла она, самой себе совсем не веря.

Однако, надо же посмотреть, удостовериться.

Она не ошиблась: вот оно!

К зеркальному стеклу, между башней средневековых часов и мраморной группой Лаокоона со змеями, было приклонено письмо. Странное письмо: оно светилось, будто конверт его был пропитан фосфором. Его можно было отличить между тысячью других писем и увидеть даже ночью.

Затаив вздох и сдерживая беспокойное биение сердца, Софья Павловна встала, взяла письмо и порвала конверт. Письмо было написано по-французски, слогом решительным, хотя утонченным; почерком изящным и тонким, как у женщины, и вместе уверенным и твердым, как у человека, привыкшего повелевать.

«Взявшись исполнить поручение, заведомо важное, не следует его откладывать и забавляться игрой, не стоящей свеч. В последнее время служба ваша весьма неудовлетворительна; берегитесь, чтобы и награда не стала такова же. Мы щедро платим, но строго взыскиваем. Обещанный документ прилагаю. Это вы устроили хорошо, но, передав его старику — бросьте! Остальное все само сделается. Обратите все внимание на дочь. *Она должна быть отвлечена.* Понимаете?.. С нею задача нелегкая. *Пока ее сердце молчит*, голова ее не затуманится — *она не забудет прошлого*, а для настоящего не изменит будущему. *Вы должны так устроить, чтоб ее сердце заговорило!..* На средства — *carte blanche*. Время — шесть месяцев. В случае неудачи — найдем агента способнее».

Подписи, разумеется, не было, да в ней и не нуждались.

Последняя фраза письма заставила Орнаеву вскочить и забегать по комнате в злобе и тревоге. «Агента способнее»!.. Способнее? В самом деле?.. Пусть ищут!.. Уж кажется, ее служба недюжинная. Кто бы на ее месте не постоял даже закабалиться на всю зиму в этой лесной берлоге? Выбросить несколько месяцев, чуть не год из жизни. А ему, этому безжалостному Мефистофелю, все мало!

Подумав это, она опомнилась: что, если он узнает? Услышит ее негодование, — еще хуже обозлится! Ведь у него уши и прозорливость на все и везде!.. На самые мысли даже нет для него тайн. Это соображение заставило ее умерить свое раздражение, покоряясь «неизбежному року». Она считала свою многолетнюю кабалу неизбежным роком, не на себя, а на судьбу за нее пеняя. Она забыла, что шла на нее вольной волею, вполне сознательно; именно для «настоящего, — ведомого, ощутительного настоящего», забыв «о неведомом», далеком будущем. Она сама практически предпочла «воробья в руках неведомой синице в облаках», превосходно зная, что поворота нет, что отречение невозможно... Да, она это знала; но не знала, что «добродушный воробей» может в руках ее превратиться в злобного коршуна, готового, при малейшей ее оплошности, на нее обращать свой кровожадный клюв. Она опомнилась поздно. Ее предупреждали, что измена клятвенно принятой миссии влечет гибель.

«Отцепенцам — смерть!» — было одно из правил братства, в которое она вступила десять лет тому назад и теперь несла ярмо с отвращением, сгибаясь под его часто непосильной тяжестью, — но сбросить его не могла, боялась.

Она боялась исполнения над ней, в случае измены, жестокого приговора — до ужаса! До малодушной готовности все исполнять слепо и беспрекословно, лишь бы не навлечь его на себя. Ждать милосердия было немыслимо: она слишком достоверно видела и знала, как непреложно исполняются братством обеты его членов. Награды ли за службу или жестокие кары за преступление обязательству следовали быстро и неумолимо. Бдительный надзор никогда не ослабевал; это явствовало из никогда не замедлявшихся действий исполнительной власти этой сильной корпорации. Наказание, как и содействие, равно приходили в пору.

Орнаева только что собиралась известить своего принципала, — единого ей известного члена во всем братстве, того самого, от знакомства с которым она вчера, в разговоре с профессором, так торжественно отреклась, — баро-

на Велиара, — о том, что она обещала дать Ринарди, какого рода документ ей нужен был для него; а вот, едва она вернулась, нужный ей *quasi*-автограф знаменитого графа-мага, Калиостро — на ее столе!.. Посмотреть, каково *fac-simile* ее изобретения?

Она развернула грубую серую бумагу, бывшую в одном конверте с письмом. Два листа, подшитые полуистлевшей шелковинкой, исписанные выцветшими, пожелтевшими чернилами, во всем, до мельчайших подробностей, были сходны с описанием ее ею же измышленной латинской рукописи и ее перевода. Она пробежала последнюю, невольно улыбаясь и, дочитав, самой себе громко сказала:

— Прекрасно! Будто под мою диктовку писано, но я сама так искусно никогда бы не сумела!..

Она не могла не сознавать, что такое магическое действие ей доставляет удовольствие и заставляет гордиться своими неведомыми, но, очевидно, всеильными сообщниками. Это так! Но, с другой стороны, как тут надеяться на послабление, на оплошность?.. Нет! надо быть настороже. Надо действовать усердно. Играя с такими партнерами, нельзя дремать, потому что играешь *на все* и поневоле сознаешь это.

И вот Софья Павловна невольно провела совсем бессонную ночь. Чуть не до зари пробегала она по своей средневековой спальне; как львица в клетке мечется, ища из нее исхода, так и она металась, ища скорейшего и лучшего выхода из заданной ей задачи. Потом, на заре, она села к письменному столу. Часы пробили пять ударов, а рука ее все еще быстро мелькала по почтовым листкам. Десяток запечатанных конвертов красовался на ее столе, когда она наконец, под утро, истомленная, бросилась в постель...

Что мудреного, что Ринарди и другие гости ее прождали ее появления до часу дня?

Зато, дождавшись, никто не был разочарован, Ринарди менее всех: Софья Павловна была в тот день очаровательна и сдержала все свои обещания.

XVI

Вернувшись домой, профессор оживленно рассказывал за обедом об интересном обществе, собравшемся в Рейхштейне; о том, что завтра они непременно должны ехать обедать к Орнаевой; она особенно просила об этом, потому что завтра окончательно нужно решить выбор живых картин... Бухаров, — преинтересный и премилый человек! — остается с неделю, и при нем надо все устроить... Но больше и восторженнее всего профессор рассказывал об удивительной библиографической редкости, подаренной ему Софьей Павловной.

— Это, помимо исторической и научной ее ценности, просто капитал, — повторял он. — Просто целый капитал. Любая академия за него несколько тысяч заплатит, уж не говоря о частных любителях.

— Ты и сам любитель не хуже других знатоков! — улыбаясь, заметила Майя. — Тебе не зачем искать охотников!

— Да я и не думаю! И не думаю!.. Помилуй, вот придет весна, начнутся грозы, — это завещание величайшего оккультиста последних веков еще может мне принести услугу неоценимую!

И он принялся излагать содержание «рукописи Калиостро». Как только он дошел до средства добывания магического огня, Майя пожала плечами и с уверенностью возразила, чтоб он лучше оставил такие неосуществимые надежды; что все эти советы и наставления мистиков и чародеев редко дают удовлетворительные результаты, а очень часто навлекают на их последователей большие опасности и беды...

Но она скоро умолкла, однако, не желая раздражать отца противоречием. Наступило молчание. Ринарди давно уж приглядывался к дочери.

— Ты ничего не ешь, Майя? — сказал он. — Тебе нездоровится?.. Ты не больна?

— Не больна... Но расстроена, ты прав! — вздохнула Майя.

— Что случилось? — встревожился отец.

— Ничего особенно страшного... Я сама этого давно ожидала, но все же очень тяжело! Сегодня ночью я простилась... Нет — не я! Он, — Кассиний — простился со мною.

— Как — простился? Почему? Надолго?

— Да... Вероятно, надолго. Может быть, и навеки!.. Если я не сумею заслужить свидания! — горько добавила девушка.

Ринарди помолчал, потом тихо спросил:

— Как ты знаешь об этом, дитя мое?

— Знаю. Кассиний сам мне сказал... Он просил меня не огорчаться, быть спокойной. Я постараюсь для него... и для тебя! Что ж делать, — вздохнула она глубоко, — если необходимо прожить, в разлуке с ним, долгую, скучную жизнь для того, чтоб вступить в Белое братство. А тогда уж я с ним останусь на всю жизнь!.. Но этого не может случиться, говорит Кассиний, — раньше, чем не окончатся мои прямые обязанности в жизни...

— Понимаю. Это значит, пока я жив... Но разве твой всеведущий Кассиний не предвидит, что с течением времени у тебя могут явиться другие обязанности? Узы, еще несравненно сильнее, чем привязанность дочерняя?

— Разумеется, он все предвидит. Но я надеюсь, что Бог поможет мне себя ничем не связывать.. Я никогда не выйду замуж! — сказала Майя.

— Не выйдешь замуж?.. Не будешь знать любви?.. Бог сохрани тебя от такой печальной жизни, дитя мое!

— Бог сохрани меня от тягот, забот и горестей брачной и семейной жизни!

— Неужели твой Белый брат внушал тебе такие ненормальные помыслы?

Майя отрицательно повертела головой, прямо, с улыбкой, глядя в лицо отца.

— Он, напротив, говорил мне, что это было бы естественно, что греха в любви и браке нет. Но я сама надеюсь и молю Бога помочь мне не ведать любви к кому-либо одному, чтоб полнее и безграничнее любить всех... На что мне эгоистические, сомнительные радости этой обыденной жизни?..

— Ах, Майя, девочка моя дорогая! — невольно воскликнул Ринарди. — Уверена ли ты, что это не сон? Не обман воображения?..

Звук колес и шелканье бича у подъезда прервали беседу отца с дочерью. Оба поднялись удивленные: вечерние, неожиданные визиты в деревне редкость. В передней с шумом отворились двери, раздались голоса, веселый смех, и разгоряченное морозом, смеющееся лицо Орнаевой, еще закутанной в меха, опорошенные снегом, заглянуло в столовую.

— Вот и мы за вами — к вам же! — закричала она. — Пообедали? Прекрасно! И мы от обеда... Мы решили не терять золотого времени с Дмитрием Андреичем: он сгорает нетерпением познакомиться со своей Антигоной... То есть, *pardon, cousin!* С вашей Антигоной, а своим оригиналом. Бухаров! Что ж вы стоите? Раздевайтесь же! Не бойтесь! В этом доме живут не медведи и не педанты, помешанные на формальных церемониях, а добрые, милые, гостеприимные люди, которые нас обогреют лаской и горячим чаем.

Софья Павловна была необычайно мила и весела.

Спутник ее, уже знакомый профессору художник Бухаров, нелюдимостью тоже не отличался. Это был человек средних лет, красивый брюнет с подвижным, выразительным лицом и глазами, изобличавшими сильные страсти, не успокоенные еще бурной жизнью. Бухаров был давно женат на красавице, на женщине замечательной, вообще, не одной красотой, но умом и талантами. Он, вообще, был удачник, что доказывало и его счастливейшее супружество.

Благодаря большому состоянию жены и громадным заработкам мужа, Бухаровы жили роскошно и гостеприимно. Их приемы, кроме того, отличались артистической оригинальностью обстановки, разнообразием развлечений и смешанными элементами общества, которого столпотворение для многих составляло самую привлекательную черту их вечеров и обедов. Бухаровы знали и любили весь свет; и весь свет, за немногими исключениями, знал и любил их.

Оригинальная репутация профессора Ринарди и его дочери давно, по слухам, интересовала Дмитрия Андреича как художника, поэта и, кроме того, мистика по влечению. Он обрадовался, когда Орнаева написала ему, что в ней, «в очарованной и очаровательной Майе Ринарди», она нашла ему чудный тип. Он знал развитый вкус и художественное понимание Софьи Павловны. Кроме того, не прочь был посмотреть на живописные берега Финляндии зимою; а познакомиться с чудодеем-окультистом и его «зачарованной дочерью» тем более... У него оказалось свободное время, он и воспользовался приглашением, сопутствуемый наказом жены: «Хорошенько все разузнать и постараться уговорить этих интересных людей оставить свою берлогу — показаться в столице!»

С первого взгляда Бухаров увидал, что недаром приехал. Его утром прельстила «патриаршая» осанка и разговор профессора; теперь же «мистическая красота» Майи привела его в восторг неподдельный.

Но Бухаров был человек хотя увлекающийся, но воспитанный и светский. Он не подал на первый раз и вида о том, что думал; но твердо решил, что не упустит такого клада, не передав его, по крайней мере, своему полотну, если окажется совершенно невозможным увезти ее с собой на украшение и любование той художественно-артистической среде, в которой проходила его жизнь.

В оживленных разговорах, в музыке и веселых предположениях Орнаевой насчет затевавшихся ею живых картин вечер, до поздней ночи, прошел незаметно. Даже Майя была развлечена и охотно поддавалась всем затеям Софьи Павловны. Решено было весь следующий день провести в Рейхштейне и, к великому удовольствию Бухарова, ни профессор, ни дочь его нисколько не противились его желанию написать их портреты. Первый сеанс был назначен на завтра же.

Садясь в сани, чтоб ехать домой, художник воскликнул в непритворном восторге:

— Софья Павловна! Как мне благодарить вас?.. Я сам не смею: поручу жене обнять и расцеловать вас при первом

свидании.

— *Qu'à cela ne tienne!* Позволяю вам себе это позволить самому, если только жена вам это позволит! — рассмеялась Орнаева. — Что, ведь не преувеличивала я, когда писала, что эта девушка находка для поэта и живописца?

— Какое преувеличивали! Да я и ожидать не мог такого изящества! Такого ума, знания, талантов и полного неведения своих преимуществ и красоты! Помилуй Бог! Да это какой-то премудрый доктор Фауст в образе прелестнейшей из Гретхен! А этот старик — тоже оригинал удивительный! Древний пророк! Волхв, по наружности и по знаниям!

— Ну, она гораздо выше отца по всему.

— Согласен! Она какая-то свыше одаренная и просветленная пифия!.. Удивительные, загадочные люди! Я страшно вам благодарен, Софья Павловна.

— Я так и знала. Но теперь я передам вам свои планы касательно этой прелестной девочки. Вы должны мне помочь ее отшлифовать для света! Лишать общество такой самобытной жемчужины и ее предавать увяданию в этом диком захолустье, вы понимаете, грешно! Надо уговорить их переехать в Петербург, поехать за границу летом. Вывести их, в особенности, ее, на свет Божий!

Нечего и говорить, с какой готовностью ухватился за эту мысль художник. Они до поздней ночи строили на эту тему планы совместных действий.

В то же время Майя думала, засыпая:

«Ну, что ж! Кассиний говорил, чтоб я не чуждалась людей, не сторонилась общества. Лучше начать жизнь, — мою новую, обыденную, скучную жизнь, — со сближения с такими интересными людьми, как Орнаева и Бухаров, чем ездить в город или к другим соседям на вечеринки с танцами!»

И заснула Майя безмятежно; а на другой день поехала в Рейхштейн. На третий же, впервые в жизни, осталась ночевать вне родного дома и прогостила две недели у Софьи Павловны Орнаевой, лишь навещая отца, который, впрочем, и сам целые дни проводил в замке.

Одуряющая атмосфера вечной суетни, вечного веселья, окружавшая ее новую и пока единственную приятельницу, мало-помалу, исподволь и незаметно втягивала ее в свою трясицу.

XVII

Майя очень изумилась, опомнившись через месяц. Проснувшись в одно зимнее утро, она увидела себя в незнакомой обстановке, вдали от родного гнезда, в шумном городе, среди шумного общества, где все почему-то интересовалось ею, восхищались каждым словом ее, каждым движением. Ее, впрочем, не смущало и даже не удивляло общее поклонение; ее постепенно приучили в Рейхштейне к восторженным хвалам. Она принимала их, как ласку, а не как лесть, и сама искренне воздавала приязнью своим новым знакомым.

В Петербурге, в многолюдном обществе, которое она нашла у Орнаевой и Бухаровых, друзей нашлось ей множество... Театры, опера, выставки, даже презируемые ею заглазно балы произвели на Майю блестящее впечатление. Она охотно осталась бы дольше гостить у Бухаровых, которые ее усердно о том просили; но отец, пробывший только с неделю в столице, писал грустные письма, по которым Майя предположила, что он болен, испугалась и решила тотчас ехать домой.

Тогда и Орнаева собралась, уверяя ее, что только для нее и жила здесь.

На первой неделе поста они возвратились: Майя, как в чад от множества новых впечатлений; Орнаева, сильно озабоченная... Из данного ей срока оставалось менее четырех месяцев, а она не видела никаких признаков у Майи сердечных движений.

— Легко ему приказывать: «Вы так должны устроить, чтобы ее сердце заговорило!..» А если оно не может, не умеет говорить?.. Ведь бывают немые от природы! — досадливо

иронизировала она сама с собою. — Эта девочка, как истое создание не от мира сего, — русалка или эльф, — не поддается никаким человеческим чувствам. Уж я ль с ней не бьюсь? — и ничего! Ни кокетства, ни тщеславия, — о любви даже не поминая!.. Это не живой человек, а поэтическая кукла, набитая мистицизмом.

Так рассуждала Орнаева, но, в сущности, в Майе произошла большая перемена. Она не влюбилась ни в кого, это правда, но вошла во вкус развлечений, полюбила блеск и удовольствия, которых суетность осудили бы те, чье одобрение в прежнее время доставляло Майе величайшее счастье. Месяц в городе, среди вечной суеты и спеха, свел ее с колеи, приучил упускать из виду, что сказал бы Кассиний о ее препровождении времени? Она, среди массы развлечений, о которых прежде не имела понятия, не то чтобы забывала Кассиния, но уж не так много и часто о нем думала. Однако, как только она вернулась домой, ее охватили воспоминания, и она сама себе ужаснулась, сообразив, как мало она во все это время думала о *прежнем*, как редко вспоминала наставления своего друга.

Прошедшее нахлынуло и охватило ее с новой силой, как только она вошла в дом, где протекло ее детство. С непривычки ей казалось, что она целый век в нем не бывала... Ее охватили воспоминания!.. Ей так захотелось полнее окунуться в прошедшее, что она рада была остаться одна с отцом, когда уехала Орнаева.

Того же нельзя было сказать о профессоре.

Целуя и сжимая в объятиях дочь, он смотрел на улыбающуюся ему кузину и припал к руке ее с горячностью не меньшей. Ринарди едва ли не одинаково скучал по обоим отсутствовавшим, пока они были в Петербурге, и не раз ловил себя на размышлениях: как хорошо бы пожить ему на свете в последние годы жизни, если б «так или иначе» Софья Павловна навсегда поселилась бы с ними. Пожалуй бы, даже одна с ним, предполагая возможность выхода замуж дочери его... Он легче примирялся с последней необходимостью, чем с мыслью о разлуке с соседкой, о ее отъезде навсегда. Он горячо желал, и даже имел некоторое пра-

во надеется, что не будет осужден на такое горе... Ответы Орнаевой на письма его, где он сетовал на свое старческое одиночество, давали ему это право.

Оставшись с Майей один, он бил на то, чтоб все в подробностях разузнать о их препровождении времени в столице; а она, напротив, все возвращалась к тому, что было прежде; вспоминала то, что для него утратило интерес со времени знакомства с «кузиной». В своих стремлениях они теперь совершенно, в корень расходились. Старика занимали лишь мысли об Орнаевой и нетерпеливое ожидание весны — весенних гроз, которые могли, которые *должны* были, помощью строгого исполнения им всего, что предписывалось в наставлении Калиостро, — дать ему ключ к великому могуществу. А дочь его находилась на каком-то и жизненном, и нравственном перепутьи, между влечением сердца к заветам чудодейного прошлого и разнообразием новых впечатлений. Теперь, когда они миновали, она сильнее была одурманена их богатством и новизной, чем когда они были действительностью настоящего, и в чад у них она сразу не умела разобраться.

И в деревенском их затишьи Майя не была ограждена от влияния этих новых в жизни ее сил. Ни Орнаева, ни ее столичные приятели не оставляли ее без известий. Первая то и дело, привозила читать ей вслух письма их общих знакомых с восторженными панегириками Майе, сожалениями об отъезде ее, чуть ли не с объяснениями ей в любви; вторые и сами не дремали: не только писали ей, но писали о ней и усердно присылали им все нумера газет и журналов, где о ней говорилось. Хотя ее в них и не называли прямо по имени, но несомненно говорили о ней, превознося ее до небес. Поводом к этим печатным восхвалениям послужила выставка картин Бухарова, где то и дело попадались ее портреты в разных видах: «Эдип и Антигона», «Вдохновенная», «Лесная фея» и т. д. без конца.

По наружности, однако, никто не угадал бы в ней поворота к суетности; напротив, она по виду стала величава, спокойна и уверенна в себе, как женщина, много испытывавшая в жизни. Попад снова в прежнюю обстановку, охва-

ченная вновь прежней атмосферой, воспоминаниями всей жизни, Майя Ринарди сразу стала серьезней, сосредоточенней, и с жаром вернулась к продолжению занятий, начертанных для нее Кассинием. Под влиянием их, к ней отчасти вернулось внешнее, величавое спокойствие, заставлявшее многих предполагать, что она невозмутимее и недоступней, нежели то было в действительности.

Наступала весна, дружная, яркая, смеющаяся.

В прежние годы Майя Ринарди целыми днями пропадала бы в лесах и рощах; теперь она не выходила почти ни в парк, ни в сад, а в Рейхштейн упорно отказывалась ездить. Она почти безвыходно сидела у себя, на своей «вышке», переписывала все *прежнее*, все нравственные и научные уроки, записанные ею со слов «учителя», или продолжала свое одинокое учение по книгам, им указанным. С отцом она теперь редко проводила время. Он все был занят в своей лаборатории или кабинете опытами, которые ее не интересовали. Майя считала себя вправе так поступать, потому что он сам явно ее сторонился, даже скрытничал с нею по поводу своих занятий, о которых Орнаева теперь знала гораздо больше, чем она. Эта добрая родственница, впрочем, сама почти переселилась к ним... Дурные дороги не допускали к ней гостей, а она ничего так не боялась, как одиночества. К тому же близость к отцу и дочери, постоянное наблюдение за ними, именно в настоящее время, для нее были очень важны, потому что ей приходилось пустить в ход всю свою изобретательность, хитрость и влияние.

Половина срока, ей данного, истекла... Сюда, в их захламление, никого нельзя было ожидать в такую распутицу; а профессор, под влиянием каких-то особых расчетов, решительно заявил, что не двинется из деревни ранее окончания своих опытов, — ранее, чем пронесется над ними седьмая весенняя гроза...

Поди, — жди ее!.. Она, быть может, не прогремит в их небесах и до июля, а в июне роковой срок!.. Орнаева теряла голову. От беспокойства и страха она даже похудела и писала отчаянные письма своему принципалу.

В начале мая, в одну совсем белую ночь, войдя в свою комнату, Орнаева бросилась утомленная, измученная неудачами, в кресло... Что ж это будет, наконец?.. Чем виновата она, что ей ничто не удастся?.. Книги, которые она дает Майе, — та не читает; советов ее не слушает, даже к самым речам ее невнимательна. Она так рассчитывала на влияние этой поездки — и что же вышло?.. Ничего!.. Она теперь и не вспоминает ни о ком из своих поклонников... Да и их, дураков, ни одного не заманишь сюда никакими просьбами. Ухаживать, пока на глазах, восторгаться — это их дело! А на что-нибудь решительное пойти — не хватает силенки... О! Если б Майя была богата!.. Если б за поэтической красотой ее стояла прозаическая, но внушительная цифра ее приданого, которой можно было бы ослеплять нерешительных претендентов. Тогда они не побоялись бы распутицы! Много бы охотников нашлось, очертя голову, вступать в конкурсное соискание ее взаимности, ее руки... Ее задача тогда была бы несравненно легче; но этот старый дурак, не стесняясь, вправо и влево успел ослабить, что разорился на свои аппараты и опыты; а бесприданница-невеста у нас, известно, будь она одарена красами и талантами не одной крестной матерью-колдуньей, а целым сонмом ведьм и волшебниц, в матримониальной игре банка не сорвет. Она, Орнаева, пыталась было распространять молву о богатстве Ринарди; она прекрасно знала, что если дело на то пойдет, *они* не постоят за цифрой приданого... Недаром в том письме было сказано: «на средства — *carte blanche!*» Но какими средствами заставить отца или дочь взять деньги?.. Они ни за что не согласятся принять подарка даже от нее... «Хоть бы устроили *те*, чтоб на их выигрышный билет выпал славный куш!»

При этой мысли, ей блеснувшей, Орнаева вскочила, ударив себя по лбу.

Это была счастливая идея... Но... есть ли у них билеты выигрышных займов?.. Это еще вопрос. С такими людьми, не от мира сего — все вопрос! Все практические дела им по принципу и на практике чужды... Но это можно поправить — заставить купить... Упросить Майю принять в подарок...

Или еще вернее — попросить старика разменять ей. Сказать, что давно хотела продать... Как-нибудь устроить можно, а тогда, — *их* дело устроить так, чтоб на этот билет пал выигрыш... Разумеется, *первый* выигрыш!.. Они это делают без затруднения, если это для их целей нужно... Разумеется, двести тысяч не Голконда, но...

Орнаева вдруг остановилась, как вкопанная, пораженная не звуком голоса, а скорее сознанием чужого голоса возле или внутри себя.

— Нет! — говорил он: — *это не нужно!*

И в ту же минуту ей блеснул на камине зеленовато-синий огонек.

Как виноватая, вся холодея внутренне, она подошла, взяла светившееся письмо и прочла его с тяжелым замиранием сердца. Но ничего страшного в нем не оказалось. В нем было всего две строчки:

«Сами пришлем того, кого нужно. Примите гостя, как родного, как неожиданно навестившего вас сына вашего лучшего друга. Имя ему — *Карма*».

Улыбка успокоения, даже торжества вернулась на лицо ее и, со вздохом облегчения, она прошептала:

— Карма?.. Символическое имя! На их языке — *воздаяние*... Непреложный закон возмездия!.. Наконец-то!.. Авось теперь наше дело выгорит!

И вновь — эхо ли собственного ее голоса, или, действительно, кто прошептал вслед за нею, но она явственно слышала свое последнее слово, повторенное тоном насмешки:

— Выгорит!

XVIII

Раз утром, встретясь за завтраком, профессор, необыкновенно оживленный, сказал своей дочери:

— Ну, милочка, приснился и мне необычайно яркий сон.

Майя посмотрела внимательней на отца и спросила:

— Что ж за сон тебя так порадовал, папа?

— Да уж и не знаю, право, сном или светлым видением назвать мне свою ночную грезу? — начал рассказывать Ринарди. — Меня посетила богиня!.. Уверю тебя, милочка, что ко мне нынче спустилась сама Юнона или премудрая Изиди. Представь себе... Я даже не сумею точно сказать тебе, как я ее увидел и какой у ней был вид. Знаю только, что я вдруг ощутил возле себя чье-то светлое, желанное присутствие. Я открыл глаза и увидел образ женщины, которую вначале принял за тебя, Майинька. Она стояла на пороге дверей на лестницу в обсерваторию и манила меня вверх, за собою.

— И ты пошел за ней? Послушал ее?

— Без сомнения! Во мне даже ни секунды не было колебания. Столько привета было во взгляде ее, столько повелительности в призыве, что я последовал за ней, как за магнитом...

— Напрасно. Никогда не поддавайся таким видениям... О! эти красавицы-женщины, являющиеся ученым, часто увлекают их в беду... Разве ты не читал...

Добродушный смех отца прервал ее речь.

— О! Девочка моя! Ты меня смешишь. Разве я волен в своих снах?

— Да, если это был только сон. Простой сон?

— Друг мой! Простой иль не простой — разве могу я знать? Ведь я не одарен, как ты... Во всяком случае, выбор действий мне не был дан. Я не мог не идти, пошел и не раскаялся! Ты помнишь зрелище, которое мы с тобою видели осенью, что показывал нам барон Велиар?

— Тсс! Бога ради, не произноси этого имени! Не напоминай мне об этом ужасном человеке! — болезненно-раздражительно отвечала Майя.

— Хорошо, хорошо, дитя мое! Успокойся... Я хотел только объяснить, что то, что мы видели с тобою тогда на одной планете, то самое я увидал, без всякого аппарата, в своем волшебном сне, на всех светилах, покрывавших небо. Вообрази это чудное зрелище!.. Едва я взошел на вышку, я увидал, что весь небосклон горел чудными разноцветными

звездами; а едва я устремлял глаза на которую-либо из них, как она мгновенно словно приближалась ко мне, так что я мог свободно отличать ее географические очертания и даже населенные на ней пункты. А моя чудно-величественная женщина-богиня стояла возле и рассказывала мне этнографию и историю каждой из них. Я, помню, во сне подумал: уж не София ли это твоя, о которой рассказывала ты, навестила меня?

Майя отрицательно покачала головой.

— Нет, отец, оставь эти мысли: Белые сестры на такие бесцельные проявления не тратят сил. Не сердись, папа!.. В их глазах, — я говорила тебе, — занятия твои бесцельны, потому что прямого приложения им нет: все те открытия, к которым ты стремишься, были бы преждевременны.

Майя крепче обняла отца и, любовно прижавшись к нему, продолжала:

— Ты лучше послушай, что я тебе расскажу: помнишь ты свое раннее детство?

Профессор задумался и отвечал нерешительно:

— Раннее детство? Нет. Я тебе скажу, почему...

— Постой! Я сама тебе скажу: потому, что по седьмому году ты заболел мозговой болезнью, после которой потерял память обо всем, что до этого было.

— Да! Я говорил тебе?

— Нет, папа, не ты мне это говорил, а Кассиний. Он мне сказал, прощаясь со мною, что надеется, что я не забуду ни уроков его, ни тем более его самого потому, что со мною он пробыл необыкновенно долго. С другими Белые братья и сестры не могут быть долее их отрочества, лет до десяти, до двенадцати. Им, видишь ли, очень мешают окружающие избранных ими детей; особенно тех, что живут в людных, больших городах. Большею частью, они удаляются, как только первое отрочество сменяет детские годы; со мною же ему посчастливилось потому, что я жила в чистой, здоровой атмосфере и в тихой среде, почти в одиночестве. А главное потому, что почва, на которой я росла, была необыкновенно благоприятна...

Майя склонилась близко-близко к отцу и чуть слышно шептала ему на ухо, будто боясь, что у самих дверей и окон бывают уши.

— Он говорил, что мои способности с двух сторон наследственны! Что вы сами, — ты и мама — были такие же, как я. Ты — до семи лет, а мама дольше, — до пятнадцати.

— Как? И я?.. Твоя мать — быть может! Она часто проговаривалась в таких воспоминаниях и таких странных понятиях, что, соображая впоследствии, я сам догадывался, что она передала тебе отчасти свои способности и свойства. Но я?!

— Да, ты, папа. Ты сам... Только ты совершенно все забыл после болезни, а она кое-что вспоминала...

— Но, дружок мой! Как могло это случиться? Забыл бы я, — помнили бы старшие, меня окружавшие, — протестовал Ринарди.

— Э, милый мой, полно! Мало ли детей рассказывают старшим, что они видят и слышат? Какие с ними случаются дива, — но что делают взрослые? Разве помнят они или обращают внимание на эту *«болтовню и вздорные бредни»*?.. Так и ты. Кассиний знал и тебя, и маму с рождения, и любил вас обоих. Он оттого и пришел ко мне, что сначала надеялся на ее помощь, но она умерла и, умирая, ему меня поручила.

— Так она его видела? Узнала? Вспомнила? — дивился профессор.

Он задумчиво слушал рассказы дочери, как слушают старые люди давно знакомую, с детства милую сказку, которую ум отвергает, но признает душа.

— Да, когда она заболела, к ней снова вернулись ее способности. Она тогда увидела и признала его. И, видно, ему доверяла, если просила его меня не оставлять.

— Она просила? А между тем он все же, говоришь ты, тебя оставил!

— Оставил, но не совсем! — горячо возразила Майя, в увлечении возвышая голос и не замечая, что на пороге столовой, за спиной их кто-то появился и неслышно замер, прислушиваясь. — Во-первых, он вооружил меня на бой жи-

тейский всем тем, чему меня учил: ведь у меня томы дневников, где записаны, под его диктовку, все уроки его, все, что я слышала и видела. С таким оружием мне мудрено, хоть он и говорил, что забвение приходит всегда незаметно и скоро, забыть его наставления, его обещания!.. Да и кроме того...

— В такие юные, неопытные годы самые премудрые наставления бессильны без руководящего, живого участия! — сказал Ринарди.

— За неимением руководящего участия Кассиния, у меня есть еще от него память...

И она выдернула цепочку, на которой всегда висел на груди ее талисман, данный ей Белым братом.

— Посмотри, отец: вот что он мне дал!.. Я во всю жизнь не расстанусь с этим медальоном и надеюсь, что он охранит меня от всех житейских бед.

Шорох, раздавшийся за ними, заставил их оглянуться, а Майю скрыть поспешно талисман свой на груди.

За дверями раздался голос еще невидимой Орнаевой. Она, лишь мельком увидав талисман и услышав предпоследние слова молодой девушки, быстро отступила назад в глубь комнаты и оттуда спрашивала:

— Можно войти? Или, быть может, вход запрещен?

Ринарди быстро поднялся и пошел навстречу кузине с протянутыми ей дружественно обеими руками.

— Для вас — никогда!.. Милости просим.

Софья Павловна вошла, как всегда оживленная и приветливая; только тревожный огонек в глазах и маленькая временная бледность могла дать заметить, что она только что чего-то испугалась или чем-то поразилась до того, что кровь отхлынула ей к сердцу.

Между веселой болтовней, которой Орнаева привыкла часто прикрывать свои чувства и размышления, она то и дело украдкой бросала тревожные, почти боязливые взгляды на Майю и думала:

«Вот оно что!.. Вот причина и разгадка ее неуязвимости!.. Почему же *он* меня не предупредил?.. Неужели сами они того не знали?.. Неужели *тот* настолько сильнее *их*?!»

Но Майя, утратившая свои ясновидящие способности, не прозревала мыслей Орнаевой и никак не подозревала, что она слышала что-либо или видела ее заветный талисман.

XIX

Прошло еще. несколько дней, и весеннее солнышко так пригрело землю, что из нее брызнули не сеянные людскими руками, а щедрой матерью природой рассыпанные красоты. Окружные леса и рощи оживились шелканьем, свистом, жужжанием, приодевшись в светлые наряды, и благоухали первоцветами.

Раз Майя, подойдя к окну, увидела, что садовник в цветнике сымает с тачки молодые ландыши и пересаживает их на гряды...

Уж ландыши расцветают, а она еще не составила ни одного букета, не сорвала в лесу ни одной фиалки, не переступала садовой ограды.

— Сегодня непременно пойду гулять подалее в лес! — решила Майя и за завтраком сказала отцу, что уходит, чтоб он не ждал ее ранее обеда.

Профессор даже обрадовался, что к дочери его возвращаются старые привычки. Он только посоветовал ей не уходить слишком далеко и почаще поглядывать на небо.

— Сегодня необыкновенно жарко! — говорил он. — Так сильно парит, а барометр так падает, что, вероятно, к вечеру будет гроза. Смотри, не вымокни!

— Не беда! Ведь я не сахарная! — засмеялась Майя.

Отец очень давно не видал ее такой оживленной и веселой. Он и сам в это утро был в прекрасном расположении духа и, глядя на Майю, остановившуюся в цветнике, о чем-то спрашивая садовника, он потирал самодовольно руки и думал:

«Ах ты, красавица моя! Погоди, озолочу я тебя скоро! Даст Бог, с лихвой возвращу достояние твое, растраченное на мои изыскания. И богатство тебе дам, и славное имя! И

не одну тебя, а весь род человеческий благодетельствует твой старый отец, несмотря на твои сомнения. Вот уж третья, счетом, гроза сегодня будет! Еще четыре — и могут, — *должны* исполниться мои лучшие надежды!»

И Ринарди радостно потирал руки, оглядывая яркое, ясное небо, взглядом полным ожидания и вызова.

Майя, между тем, быстро шла через парк и поле к лесу. Ее вдруг, в то утро, потянуло к старым привычкам; захотелось подышать ароматом земли и молодой зелени; порыться в сырой насыпи многолетней, перепрелой листвы и моха между соснами и березами, набрать в корзину фиалок и целые вороха ландышей. Но чем ближе подходила она к опушке с колыбели знакомого бора, тем сильнее, помимо воли ее, ее охватывало чувство тревоги, жуткое чувство не то печали, не то боязни... Печаль легко было объяснить: она впервые пришла в эти полные светлых воспоминаний места со времени смерти ее верного спутника, ее бедной Газели. Разлука с Кассинием, исчезновение из жизни ее всех тех светлых видений, которыми она была богата, которыми так оживлены бывали, в былые времена, эти самые поля и рощи; наконец, трагическая гибель этого друга, — достаточно объясняли ее грусть. Но что могло заставлять сердце ее сжиматься, как перед бедой?.. Чего ей было бояться?..

Красота стояла в небе и на земле. Птицы радостно реяли в светлой выси, озаренной безоблачным солнцем. Пригретые им до истомы, луга и леса благоухали, расцветая и нежась в ласкающем тепле и свете; а перелетные цветы — бабочки, пчелы, мотыльки кружились в воздухе, купаясь в нем и им упиваясь для нового возрождения к жизни и деятельности.

Вот блеск и сияние полей сменились дымчатой тенью с золотистыми просветами между деревьев, с перебегавшими по земле круглыми солнечными пятнами. Майя вступила в березовую рощу. Белые березки в светло-зеленых кудрях радостно перешептывались со своими обывателями, суетливыми пташками... За рощей, на пригорке, темнел бор, а за ним, Майя знала, был глубокий овраг, по дну ко-

торого бежал гремучий ручей. Туда она и направлялась тихой походкой, осматриваясь, думая, вспоминая и то и дело наклоняясь, чтоб сорвать фиалку или ландыш.

Вот и частый, темный, неподвижно-таинственный бор. Здесь сырость и прохлада; синие тени еле перемежаются просветами солнечных лучей, которые играют на красно-бурых стволах сосен и старых, угрюмых корявых елей.

Майя еще более замедлила шаг. Вся детская любовь ее к лесу, к этим заповедным местам чудес, наяву и во сне с ней случавшихся когда-то, вернулась и охватила ее чувством блаженного ожидания, надежды на нечто, чего сама она определить не умела. Полной грудью вдыхала она тонкие ароматы леса, зорко присматривалась и чутко прислушивалась, останавливаясь на каждом шагу.

Нет! Ничего не видно и не слышно *прежнего*, но нужды нет! Она всем бытием своим чуяла, что *прежнее* окружает ее! Хоть не видимая и не доступная прямому ощущению, но золотая сеть видений, радовавших ее детство, никогда не чувствовалась ею ближе, и давно уж настороженному слуху ее не чудились так ясно посторонние голоса...

Чу!.. откуда этот лай?..

Майя вся подалась вперед, прислушиваясь.

Лай доносился явственно; все ближе и ближе, будто собака приближалась большими скачками и на бегу радостно лаяла.

У Майи дыхание остановилось в груди и сердце, болезненно сжавшись, забилося: лай этот так был похож на лай ее Газели, что она готова была принять его за обман воображения.

«Эхо прежних ее радостных прыжков и лая?» — подумала она; но в ту же секунду вся задрожала и, выронив корзину с цветами, рванулась к мелькнувшей между деревьями белой собаке.

— Газель! Газель! — сама не зная, как и зачем, закричала она, и, пораженная, остановилась, будто приросла к месту...

Она в первую секунду было опомнилась, что поступает безумно; но когда белая собака, вылитая ее Газель, оста-

новились, на зов ее, повернув голову, и с радостным визгом устремилась к ней, Майя потеряла всякое соображение. У нее подкосились ноги, и она упала на колени, прямо на грудь свою приняв собаку, забросив ее лапы себе на плечи, будто сразу узнав в ней старого друга.

— Газель!.. О! Боже мой... Да что ж это такое?.. Ты ли это, голубушка, дорогая моя Газель?!..

Она обнимала ее, гладила, целовала, ощупывая ее и себя, стараясь понять, в чем дело, убедиться, что это не сон, не обман чувств и зрения.

И красивая собака к ней ластилась, лизала ей руки, радостно взвизгивала.

Наконец она опомнилась, шатаясь, поднялась с земли и закрыла глаза обеими руками, уверенная, что это только видение... И точно, все смолкло.

Собака не прыгала, не лаяла более... Все замерло и было тихо.

В полной уверенности, что ей это привиделось, Майя отняла руки и открыла глаза.

Открыла их — и отшатнулась.

Нет! Не привиделось. Собака тут, смиренно сидит у ног ее, но на нее не смотрит. Она подняла свою красивую, тонкую морду и устремила умный взгляд вперед, будто ожидая оттуда кого-то.

В нескольких саженях, между двумя могучими соснами, стоял, держа лошадь в поводу, молодой человек в рейт-фраке, с хлыстом в руке.

— *Arzèle ici!* — тихо позвал он свою собаку.

Но она не двинулась с места, а только тихонько, жалобно взвизгнула, слегка рванулась грудью вперед, но тотчас снова замерла; сидя на задних лапах и хвостом выбивая такт по земле, она так смотрела на своего хозяина, словно звала его самого приблизиться.

Он улыбнулся и повторил настойчивей:

— *Arzèle! Viens donc!.. Viens ici, mon bon chien.*

Тут, наконец, опомнилась и Майя.

— Извините меня! — сказала она тоже по-французски, потому что ей почему-то показался он иностранцем. — Я по-

дозвала вашу собаку оттого, что она удивительно похожа на мою, которую... которая погибла прошлой осенью. У них и имена оказываются очень сходны... Вашу зовут Арзель?

Он склонил утвердительно голову.

— Да?.. А мою звали Газель и... Боже мой! До чего они сходны! — со вздохом вырвалось у нее.

Собака, услышав снова свое имя, бросилась ластиться к девушке, и она горячо возвращала ей ласки, готовая заплакать.

— Это я, напротив, должен просить у вас прощения, — сказал молодой человек, ласково глядя на нее своими черными, бархатными глазами. — Моя глупая Арзель напомнила вам потерю вашей собаки, и мы с ней стали невольными виновниками вашей печали.

Майя не успела ответить.

— Ах!.. Боже мой! — подхватил он. — Вот еще несчастье! Вы рассыпали ваши цветы?.. Позвольте хоть в этом мне загладить свою вину!

И он, бросив поводья лошади на сучок дерева, сам кинулся подбирать в корзину рассыпанные фиалки и ландыши.

Майя смеялась, извиняясь, смущенная, и смущаясь еще более тем, что руки их то и дело сталкивались на мху и кочках, посыпанных ее благоуханной жатвой.

Цветы были собраны. Траурные фиалки и жемчужинки-ландыши, похожие на слезы, набросаны в беспорядке кое-как, пополам со мхом и землей, в корзину. Майя первая встала.

Поднялся и он, выпрямился и подал корзину Майе со словами:

— Ну, слава Богу, дело наполовину исправлено... Все же с моей совести снята часть моего прегрешения.

— Которого и не было совсем... во всем я сама виновата. Благодарю вас и... до свидания.

— Надеюсь! — сорвалось у него с языка.

Она, наклонившись, гладила в эту минуту Арзель.

Услышав его «надеюсь», Майя вскинула на него глаза и вдруг рассмеялась.

— Без сомнения, если вы не проезжий, а думаете здесь пробыть несколько времени... У нас немного соседей и все мы знакомы...

— Если, как я предполагаю, вы m-lle Ринарди, — перебил молодой человек, — то я не далее, как завтра, надеюсь увидаться с вами... Я гость Софьи Павловны Орнаевой.

И на удивленно устремленный на него взгляд Майи он с поклоном прибавил:

— Позвольте мне себя назвать: я граф Ариан де Карма...

— Иностранец — и так свободно говорите по-русски? — не могла не изумиться Майя.

— О! Это неудивительно: моя мать княгиня Белопольская, рожденная княжна Малорукова, по второму браку рано овдовела и безвыездно поселилась в России, в своем имении, тотчас после смерти отца моего... Я вырос на берегах Днепра и, несмотря на имя, больше русский, чем итальянец.

Он снова снял шляпу и, поклонившись, добавил, весело на нее глядя:

— Итак, я надеюсь, вы позволите мне, на этот раз с полным убеждением, сказать вам: до свидания!

— И, вероятно, до очень скорого! — так же весело отвечала ему Майя и протянула руку.

Граф быстро сдернул перчатку и крепко пожал, тоже без перчатки, протянутую ему руку... И странное дело! Едва сблизилась рука их, с обоими случилось что-то, никогда прежде не испытанное... Он сразу почувствовал, что эта девушка стала ему бесконечно дорога, — вещь бывалая если не с ним, так с другими, и вполне понятная; но почему на ней это первое пожатие руки сразу полюбившего ее человека отзывалось таким болезненным ударом в сердце?.. Почему она побледнела и похолодела, и в глазах ее свет помутился до того, что она едва на ногах устояла под гнетом невыносимо тяжкого ощущения; и сердце сжалось и замерло как под ударом ножа, лишившего его жизни...

Собрав все силы, Майя кивнула ему головой и, не глядя, хотела скорее уйти; она не сделала и двух шагов, как граф Карма воскликнул:

— Позвольте, m-lle Ринарди! Не вы ли это потеряли?

И наклонившись, он поднял что-то с земли.

Майя взглянула: в руках его был ее талисман с порвавшейся цепочкой... Он, вероятно, выскользнул из-за ее корсажа, зацепился за что-нибудь и оборвался, пока она ползала по земле; а она и не заметила своей потери.

— О! Слава Богу, что вы нашли... Да! Это мой медальон. Благодарю вас!

И дрожащими руками она надела подарок Кассиния, связав тоненькую цепочку несколькими узлами. Майя забыла слова Кассиния:

— «Никому не позволяй дотрагиваться до своего талисмана. Ты не будешь более ограждена от влияния того человека, который возьмет его в руки. Если же это будет любящий тебя человек, ты совершенно подпадешь под его влияние и волю...»

Таковы были слова ее Белого брата; но Майя их упустила из виду и, подумав: «Так вот отчего мне было так тяжело!», с облегченным сердцем взглянула на графа, доверчивая, улыбающаяся.

В эту минуту со старой сосны над головой ее слетел огромный ворон. Зловещая птица, тяжело рассекая воздух крыльями, пролетела над нею, и трехкратное громкое карканье запечатлело свершившееся.

XX

Был чудный вечер конца весны. В замке Рейхштейне все окна и двери были открыты, все комнаты были в цветах. Солнце, розово-огненное, уж полчаса все ползло вдоль деревьев парка, проливая на все золотистый туман, все полосуя светом и сине-прозрачными тенями, зажигая пламенем стекла замка и красным заревом воспламенив воды, и никак не могло решиться исчезнуть за горизонтом.

У Софьи Павловны, кроме профессора Ринарди с дочерью, графа Кармы и постоянно гостивших у нее посетите-

лей, обедали в тот день приезжие из Гельсингфорса двое ученых, из которых один большой знаток этого края, местных сказаний и легенд. Он дал мысль пройтись по всему замку и даже подняться в башню, всегда запертую, потому что она более других пострадала от времени.

Оказалась, что хозяйка и сама не бывала там.

— Так, значит, вы не поинтересовались видеть и оживляющуюся картину? — спросил ученый.

— Какую это оживляющуюся картину? — изумилась она.

— Как? Неужели вам не знакомо самое замечательное предание этого замка? В восточной башне, наверху, есть знаменитая «зала влюбленных», так названная потому, что некогда там жили молодые супруги, которых изображения вы и ныне найдете там, на обоях залы. Это большая картина, все фигуры на ней во весь рост... Она представляет свадебный пир тех самых влюбленных, дамы и рыцаря, давших зале ее название.

— Да?.. Но почему же картина *оживляющаяся*? — спросила Орнаева. — Как и когда она оживляется?

— Предание говорит, что как только входят в эту залу будущие супруги, все лица на картине оживляются и принимают участие в их веселии.

— То есть как же это принимают участие?.. Оживают?! — спросили несколько голосов.

— Да... Вероятно...

— Ах! да, да, да!.. Как же! Я было позабыл эту историю, а знаю ее давно! — вмешался профессор Ринарди. — Рассказывают даже, что в ночь годовщины этой достопримечательной свадьбы все действовавшие в ней лица, изображенные на картине, сходят со стены и начинают танцевать.

— Без музыки? — спросила Орнаева, смеясь.

— Этого не могу доложить вам. Быть может, воскресают и музыканты, тогда у них, может быть, бал по всей форме.

— Ах! Да это преинтересно! Пойдемте туда, пожалуйста! — заговорили все кругом.

Орнаева послала к управляющему; надо было отпереть башню, осмотреть лестницы; необходимо было удостовериться, что туда возможно было добраться безопасно.

Разговор, попав на любопытную тему таинственного, остановился, разумеется, на ней. Кто-то из скептиков заспорил с Майей. Граф стал за нее заступаться.

Со времени первой встречи молодых людей прошло около двух недель; они виделись за это время каждый день и, очевидно, «между собою ладили» — как говорила Софья Павловна. В ежедневной близости одиноких бесед, долгих прогулок, которым никто не мог и не желал мешать, Ариан и Майя сблизились так коротко, что обоим казалось, что они всю жизнь друг друга знали... и любили! Да! Любовь их с обеих сторон пришла бессознательно и вполне самобытно. Граф Карма, слепое орудие в руках сил, существования которых он и не подозревал, подпал их воле временно, в силу некоторых посторонних влияний, ему совершенно неведомых.

Граф, возвратившись из-за границы в свое русское имение, где провел все детство и отрочество вместе с матерью, нашел в ее бумагах несколько писем, где любовно поминалось имя Софьи Орнаевой, и тут же получил от этой Орнаевой приглашение навестить ее в Рейхштейне. Не останавливаясь нимало на соображениях о странном факте, что он лично ничего не помнил об этой особе и никогда ее не видал, повинуясь лишь необъяснимому влечению, которое вдруг почувствовал к ней, Ариан решился тотчас воспользоваться ее приглашением; ответил, что едет, поехал и чуть ли не в первый же день повстречался с Майей.

Граф Ариан был неизбалованный, честный человек. Любовь к Майе, охватившая его сразу, была его первым серьезным чувством. Он полюбил ее именно той искренней, беззаветной любовью, которая имела власть бороться с ее воспоминаниями, с заветами ее прошлого и могла иметь силу побороть их, — заставив ее все забыть. Руководитель Орнаевой, — барон Велиар недаром писал ей о Майе: *«Пока ее сердце молчит, — она не забудет прошлого и не изменит ему для настоящего...»*

Вероятно, опыт показал баронам Велиар, что избранники их светлых противников, — адептов духовных начал бытия, — обезоруживаются лишь тогда, когда сами более

или менее погрязают в индивидуальных, эгоистических чувствах.

Увы! Майя уж и теперь начинала забывать многое, что ею самой записано было со слов Белого брата. Она еще поддерживала память о наставлениях его чтением своих дневников и сама изумлялась, как часто находила в них вещи, казавшиеся ей незнакомыми; но вот уж много дней она их не касалась и, верно, удивилась бы, если б кто-либо ей напомнил некоторые в них строки и сказал, что они ныне именно ее касаются:

«Когда на помощь темным силам пробуждаются в юношах страсти, — говорил ей когда-то Кассиний, — отречение от духовной жизни совершается незаметно. А едва наш избранный окунется в материализм окружающей жизни, и постигнет сладость плотских наслаждений, — его неминуемо охватывает полное забвение не только учения нашего, но и нас самих, — всего, испытанного им в детстве и отрочестве благодаря общению с нами...»

Еще очень недавно Майя, в разговоре с отцом, поминала подобные слова оставившего ее учителя; еще недавно она была убеждена, что жизнь ее пройдет одиноко, вне влияния эгоистической любви; еще недавно она с ужасом говорила, что неспособна к забвению, «этой худшей из неблагодарностей», — а между тем, теперь уж была на рубеже измены и забвения, хотя сама того не сознавала и никак не думала, что отношения ее к графу определены и ни для кого не составляют тайны.

Когда обошли замок и восточную его башню и поднялись по витой лестнице в «залу влюбленных», огненно-алое солнце решилось, наконец, до половины скрыть свой диск за горизонтом; но лучи его и румяная заря заката еще долго играли на земле и небе. Большая зала, сводом, была насквозь пронизана ими через мозаику цветного окна. И в самом деле, освещенная этим фантастическим, перемежающимся светом, обойная картина в глубине ее, по первому взгляду, точно будто волновалась движением, оживлением на ней лиц. Такое расположение освещения отчасти объясняло поверие о ней, о чем и заговорили гости Софьи Пав-

ловны. Но это не помешало дамам протестовать, уверяя, что выражения лиц на картине стали веселее именно, когда в залу вошли поотставшие на лестнице граф Ариан и Майя.

Эти замечания подали повод к вопросам и шуткам. Эти замечания и шутки застигли молодую девушку врасплох...

Пораженная неожиданностью, испуганная и огорченная, Майя онемела в первую минуту; не находя слов от изумления, она хотела протестовать, в негодовании отречься от всего, но, взглянув на графа, невольно умолкла и опустила глаза... Бледность, покрывшая было ее щеки, сменилась ярким румянцем, и вдруг она почувствовала в себе такое счастье, такая горячая радость охватила все существо ее, что ей показалось, будто у нее выросли крылья, и вот сейчас она подыметься и улетит под облака, — как в былое, счастливое время... Но не одна! Вместо Селии, заоблачной подруги ее детства, она хотела, чтоб с ней был граф Ариан.

В эту решительную минуту благое лицо ее наставника и друга было далеко от ее помыслов; но зато ей мелькнуло явственно другое, хитро ей улыбавшееся, низко ей кланявшееся лицо... Майя отпрянула от картины с громким криком, отмахиваясь от видения, как безумная:

— Он!.. Черный маг! Велиар!.. Дух зла!..

Граф и профессор едва успели подхватить ее; она, отшатнувшись, упала без чувств к ним на руки.

— Что с ней?.. Какой дух зла?.. Где?.. Что случилось? — заволновалось за ней все общество, ничего не понимая.

Одна Орнаева, проследив ее взгляд, сама побелела, как полотно. С картины свадебного пира, на стене, на нее, точно живыми глазами, смеющийся тонкой, насмешливой улыбкой, смотрел барон де Велиар. Он снял свою черную шляпу, весь изогнулся в изысканном поклоне, так что длинное на ней перо касалось пола...

Видение длилось не более мгновения, но так было живо, что Орнаева сама еле на ногах устояла. В ней мелькнула мысль: «Что он делает?.. Зачем?! Он все испортит, появившись!»

Но, словно ей в ответ, в ту же секунду презрительно-насмешливый взгляд, скользнув по ней, потух, и на миг оживший образ преобразился.

Майя приходила понемногу в себя, окруженная общим соболезнаванием и заботами. Вот она открыла глаза, очнулась...

— Боже мой!.. Простите меня! У меня, почему то, голова закружилась! — смущенно объясняла она. — Теперь прошло, слава Богу... Извините меня, пожалуйста.

Все спешили ее успокоить приветом и лаской.

Орнаева тоже приблизилась, объясняя этот обморок удрушливой атмосферой башни, подъемом по вьющейся лестнице... Когда она увидела профессора успокоившимся, а Майю, опирающуюся благополучно на руку графа Кармы, на пути к выходу, по-видимому, забывшую свое видение, она остановила незаметно Ринарди и, указывая ему на картину, сказала:

— Взгляните! Что могло ее так испугать в фигуре этого темного человека?.. Она смотрела на него, когда упала в обморок.

— Не понимаю! — ответил профессор.

На обоях перед ними было изображение какого-то пастора или квакера, в толпе других гостей приветствовавшего чету новобрачных. Совершенно бесцветная фигура, сливавшаяся с остальными.

«Что в нем могло напомнить ей барона Велиара? — недоумевал отец, задумчиво спускаясь по бесконечной винтообразной лестнице под руку с Софьей Павловной. — Одна надежда, что счастливый брак излечит ее от всех этих галлюцинаций».

XXI

Это было несомненно. Любовь и брак, счастливая семейная жизнь с человеком, преданным ей на жизнь и смерть, «были верным и единственным лекарством от фантасти-

ческих галлюцинаций и бредней, преследовавших Майю всю жизнь», — так говорила Орнаева профессору на другой день после происшествия в «башне влюбленных»; так решили и все знакомые Ринарди. Но сам он скептически относился к уверениям кузины... Отчасти он и сам надеялся, что житейское, *простое* счастье излечит Майю от бесплодных, казалось ему, порывов к каким-то сказочным, недостижимым миссиям.

В порыве искренности, Ринарди высказался прямо Орнаевой. Оставшись с ней вдвоем, в ожидании «детей», ушедших после обеда в парк, они сидели на балконе, любуясь наступавшим румяным вечером. В виду этого цветника, этой блестящей дали, где пронеслось волшебное детство Майи, Ринарди вдруг вспомнил все... Прошлое охватило его так сильно своей несомненностью, что он не мог не поделиться воспоминаниями с кузиной. Да и зачем было скрывать их от женщины, такой им близкой, так горячо любившей Майю, относившейся к ней с чувством матери, которой место и в действительности она могла, не сегодня-завтра, занять?.. Профессор давно чувствовал необходимость полной откровенности.

Лицемерить он вообще умел плохо, а с Софьей Павловной окончательно чувствовал себя к тому не способным.

Раз начав речь о прошлом, — о вмешательстве в их жизнь Белого брата, о влиянии его на Майю, о дивном детстве ее, о видениях, полетах, о «Приюте мира» и его чудных обитателях, — он уж не мог найти предела откровенности и рассказал ей все, без утайки.

Орнаева слушала, скептически вначале, потом все внимательней и задумчивей; она перестала видеть нужду в слепом, упрямом отрицании *всего*, чему, в сущности, не имела права не верить... Кому ведомо существование носителей злых начал, распространителей плотской греховности между людьми, тот не может не признавать и обратной стороны мирского бытия, не верить существованию носителей света и духовной правды.

Эта женщина, подпавшая под власть зложелателей человечества, не была от природы зла. Ею овладели не чрез

коварство ее или преступность, а воспользовались ее легкомыслием, любовью к роскоши, тщеславию и эгоизмом. Раз овладев ею, нетрудно было направить ее на всякое зло путем страха жестоких возмездий... Ослушаться, не свершать требуемых услуг, как бы ни были они преступны, в ней решимости не хватало; она прежде всего была рабыня своего эгоизма, своих страстей и плоти. Но это вынужденное повиновение ей не мешало втайне возмущаться против своего рабства. Если б был ей дан выбор, теперь, когда она знала многое и еще о большем догадывалась, она не пошла бы, вероятно, «в кабалу»... Так ей, по крайней мере, часто казалось в минуты возмущения духа и страха за будущее, — за дальнейшее будущее, — неведомое...

Ода и рада была бы упразднить такую заботу, вполне отрешиться от веры в возмездие, в бессмертие духа и загробное существование, но не могла, потому что такое отвержение казалось ей противоречием и абсурдом. Если бы все, проповедуемое Белым братством, было пустым измышлением, из-за чего же было с ними биться их противникам?.. В этом мире плоти и осязаемых фактов, и без стараний адептов злых начал, все злое торжествует. О чем же им хлопотать? Зачем им стараться отымать духовные утешения, отвлеченные верования у идеалистов, которым и без того плохо живется в свете?.. Из-за присущего им зложелания?.. Так ведь страдания и беды рушатся на злополучные головы идеалистов именно в силу их непрактичности и заоблачных стремлений; зложелателям человечества не вернее ли их оставить при опасных их увлечениях, если они заблуждаются и напрасно простирают руки к *пустым* небесам?.. Очевидно, так бы они и делали, лишь смеясь над глупцами, мечтающими о несуществующих идеалах, если б точно эти небеса были пусты!.. Но нет! Черное братство изощряется над задачей отвлечь их, заставить забыть, заставить обратиться к плотским радостям и стремлениям. Так, значит, в этом забвении, в обращении от духа к плоти и есть то зло, которое Велиары стремятся нанести человечеству?..

А если так, то служить им орудием — не только преступление, но и величайшее безумие!

Орнаева не была безрассудна; напротив, в ней логика и ум до сих пор преобладали над сердцем, которого движения парализовались эгоизмом. Сомнения часто ее тревожили... Теперь же искренность, убеждение и красноречие профессора на нее подействовали отрезвляюще. Он бессознательно терзал ее, открывая ей глаза на то, чему сам веровал, вселяя в нее невольный страх, что она погубила себя. Она слушала, дивилась, соображала, а в душе ее возникало эхо давно слышанного «где-то», совсем было, забытого великого слова:

«Не бойтесь убивающих плоть, а душу погубить не могущих...»

Не это ли самое она творит над собою: не убивает ли вечного своего духа из-за страха во всяком случае неизбежной телесной смерти?..

В тот вечер Софья Павловна уехала от Ринарди сама не своя. Она даже не дождалась возвращения графа Кармы с прогулки; отговорилась сильной головной болью и распрощалась со своим родственником в очевидном волнении. Она чувствовала, что не осилить ей дум, вопросов и сомнений, наплывавших на нее невольно, как ни старалась она заглушить их. Она внутренне трепетала от страха, чтоб ее повелитель не прочел того, что в ней творилось, но не могла в душе не проклинать его оков, *его самого*, властелина своего и мучителя.

Она так боялась всякого явления, от него исходящего, — отзвука его насмешливого голоса или его светящихся писем, а тем более его облика, иногда пред ней мелькавшего, как накануне в башне, — пугая ее своей реальностью, что она нарочно долго не шла к себе; беседуя, сама не зная о чем, с двумя-тремя лицами, никогда не оставлявшими ее в полном одиночестве, гостившими в Рейхштейне, она дождалась возвращения графа Ариана и его задержала очень долго. Она сама себе не отдавала ясного отчета о том, что с ней творится, — но что-то творилось, положительно, странное. Ее тревожили беспокойные мысли, — мысли *не о себе*

самой: в ней пробудилось раскаяние относительно Майи, с той самой минуты, как им мелькнул злобно-радостный взгляд на картине в башне. Теперь, после рассказов профессора, ей страстно захотелось убедиться, что ее вмешательство в жизнь молодой девушки не нанесет ей вреда непоправимого...

Продолжительный разговор с графом Кармой ее несколько успокоил. Не надо было даже обладать соображением Софьи Павловны, чтоб убедиться, что юноша действует искренне, что он горячо любит свою невесту и не имеет ни малейшего подозрения о том, что служит бессознательным, кому бы то ни было, орудием для достижения каких бы то ни было целей.

Из этого разговора Орнаева вынесла убеждение, что граф Ариан де Карма лишь направлен к встрече с Майей в известный психологический момент, когда его сердце было открыто любви, когда ему опостыло одиночество последних лет его жизни, а возвращение к тихому домашнему очагу, где протекло его отрочество в тесной дружбе с матерью, еще сильнее расположило его к семейным привязанностям.

«Он недалек, но искренен, добр, честен и горячо ее любит... Чего же более желать?.. Могло быть несравненно хуже!» — утешала себя Орнаева и заключила, под сурдинку собственного сознания, сама себе боясь формулировать мелькнувшую ей мысль: — «Добрые силы ее хранили! Слава Богу, что ее покровители осилили злобу врагов добра!»

Было далеко за полночь, кричали уж вторые петухи, когда, наконец, Софье Павловне пришлось остаться одной... Но тут ею овладела еще сильнее боязнь сна, боязнь ее большой, высокой, мрачной спальни. Она сама негодовала на такое детское безумие: не все ли равно — та комната или другая?.. Разве и здесь, сейчас, он не мог точно так же проявить свою власть над нею? Она стыдилась своего малодушия, но не могла с ним совладать.

Ее тянуло на воздух, на балкон.

Широкий и глубокий балкон второго этажа не выступал наружу, а прятался вглубь дома, закрытый тремя сте-

нами, опираясь на три массивные каменные арки. За ними открывалась живописная панорама пригорков, лесов, дальнего моря, а вблизи сияло озеро, и темные кущи парка выплывали, словно острова, из серебристого тумана, застлавшего землю. Полная луна стояла невысоко над росистыми испарениями, растянувшимися, словно саваны, по долам и по полям, между деревьями; ее печальный, белесоватый свет придавал еще более таинственности темным дубравам и аллеям парка... Софье Павловне чудилось в них движение... Ей так и казалось, что кто-то в них прячется, таится и вот-вот выступит на свет из мрака тенистых чащ.

Этот балкон был меблирован, как гостиная. У большого стола стояли кресла, и одно особенно спокойное, в котором хозяйка дома по утрам читала газеты и журналы. Ее потянуло в нем спокойно растянуться, но не хотелось глаз отвести от сиявшей пред ней панорамы, наводившей на нее небывалое очарование. Она решительно себя не узнавала в этот вечер, в эту белую ночь. Сердце ее тоскливо билось, ее смущала боязнь, а вместе с тем, какая-то нежащая истома овладевала ею; что-то сладко замирало в груди, захватывало дыхание чувством неопределенной радости. словно в ней отходило и таяло сердце предчувствием неведомого блага.

Не спуская глаз с горизонта, где в вечном, неумолчном движении переливалось море безбрежной пеленой, Софья Павловна бессознательно пятилась, отступая вглубь балкона, пока не наткнулась на свое кресло и не упала в него, обессиленная охватившей ее сонливостью. Она не могла бороться с одолевавшей ее дремотой... Последним сознательным движением мысли ее было:

«Что это со мною еще? Я будто под влиянием магнетизма?.. Я засыпаю, положительно...»

А последним чувством в ней болезненно сжалось сердце от страха: зачем *ему* понадобился ее сон? Но в ту же секунду страх отошел от нее, будто кто снял его рукою с ее трепещущего сердца и заменил его чувством блаженного

спокойствия. Она явственно услышала незнакомый ей голос, который говорил:

— Не бойся! Не на мучение, а на спасение призывают тебя... Иди!.. Очистись в горнем эфире, куда не достигает злоба людская.

Чувство глубокого мира вселилось в нее, и ей показалось, что она проснулась освеженная, бодрая. Кровь горячо струилась по жилам ее; все ее способности оживились и обострились до такой тонкости ощущений и понимания, какого никогда она еще не испытывала, и она встала, пораженная величественной красотой, ее окружавшей.

— Что это?.. Где я очутилась?.. Что все это значит? — невольно закричала она.

Она стояла на недостигаемых, по-видимому, ничему живущему заоблачных высотах. Девственный снег был под ногами ее; девственные ледяные вершины ее окружали отовсюду, сверкая, как алмазы и опалы; но она всех их превышала, вокруг нее струился лишь светозарный воздух. Громадный, ничем не ограниченный горизонт правильным кругом исчезал за небосклоном; бесконечно величественные пейзажи, — скалы и горы, долины и ущелья, леса и поля, реки, моря и озера, — расстилались безбрежным ковром в однообразии бесконечного разнообразия.

— Как хорошо!.. Какое великолепие!.. — невольно повторяла Орнаева, оглядываясь в недоумении, дивясь, что ей среди этих льдов и снега нисколько не холодно. — Но... как я здесь?.. Зачем я здесь?

И она оглядывала все вокруг себя в восторженном ожидании, что будет дальше.

И вот над нею снова раздался голос. Бесстрастный, ровный, повелительный, он говорил:

— С высот своих заоблачных жилищ, куда ушли они от мирской суеты, от нечистых и порочных испарений греховного человечества, носители света, Божией любви и премудрости неустанно следят за меньшими братьями, — за страждущими, колеблющимися и погибающими. Им видны пороки, но видно и раскаяние... Малейший проблеск света любви в грешной душе возжигает их чистые души желанием

протянуть кающемуся руку помощи, совлечь его с гибельной стези самоуничтожения... Грех нераскаянный — есть самоуничтожение духа!.. Человеку, одухотворенному искрой предвечного Божества, дана свобода выбора: воспламенить эту священную искру в пламя неугасимое во веки веков или утушить ее похотями плоти. Вечность дается лишь стремлением духа к самоусовершенствованию; или же великодушным порывом «душу свою положить за други своя»... Первый проблеск в душе любви к ближнему есть и первая ступень к самоусовершенствованию; безграничное милосердие, даже до забвения себя, до самопожертвования — подвиг и заслуга великие, далее коих дух, облеченный греховной и страждущей плотью, идти не может... Вникни в себя и реши: желаешь ли ты искупления прошлых злодеяний? Желаешь ли стяжать спасение кратковременным страданием, — жизнь свою положив за ближнего? Или предпочитаешь продолжать еще тянуть некоторое время земное существование под гнетом злой воли, овладевшей тобою?

Голос умолк.

Призванная произнести приговор над самой собою, Орнаева поникла головой. В ней возник вопрос, которого высказать она не смела: что же ей предстоит в обоих случаях?.. Но едва вопрос этот мелькнул в глубине ее сознания, она в один миг сама сознала и ответы на него. То блаженное ощущение мира и покоя, тот благой свет познания высшей премудрости в союзе общего благоволения, вдруг осенившие ее, были слишком сильны для телесной ее оболочки: они ослепили и одурманили ее неземным восторгом... Но вслед за тем она в одно мгновение пережила будто годы страданий нравственных и физических! Она увидела себя измученной, угнетенной злым гнетом черного произвола. Почувствовала себя изнывающей в сознании собственной преступности, но изнывающей без раскаяния, а лишь в мучительной истоме страха возмездия за злобные свои деяния...

Ужас объял ее и вне себя она воскликнула:

— Хочу искупления! Ненавижу свои прошедшие заблуждения!.. Готова на все муки телесные ради спасения моего

вечного духа!.. О! Вы, которые так сильны любовью к ближним, что увидали мое раскаяние, — дайте мне и возможность доказать его, спасти свою грешную душу!

И в ответ она услышала не один уж строгий, безразличный голос, а целый хор, торжественно-радостно ей отвечавший:

— Благо тебе! Не мы дадим тебе возможность обновить свой дух в горниле страданий, а сама ты найдешь ее, не убоившись самопожертвования, когда ему пробьет час! Благо тебе, избравшей путь спасения, если не отступишь в минуту испытания... Отныне да будет мир и покой в душе твоей, устремившейся от мрака к свету!..

Сладостные голоса замирали вдали... Софье Павловне казалось, что ее влечет с этих светлых высот вниз, вдаль, в темноту... Она стремилась всей своей волей остановиться, не покидать так скоро светлых, чистых, заоблачных сфер, — но была бессильна, как лист, уносимый ветром...

Мрак полного забвения обуял ее. Она не знала, долго ли оно продолжалось; не знала, сколько времени длился весь сон ее, — ей казалось, что очень долго, но когда она открыла глаза, луна стояла на том же месте, над туманным пейзажем, а на востоке небо ничуть не заалелось больше, чем прежде... Она подумала:

«Какой странный и чудный сон! Как это я так крепко заснула?.. Зачем не легла вовремя спать?.. Заснуть на балконе, рискуя простудиться... Что за диво?»

Но ее не поразила та странность, что память о ее боязни, о силе над ней Велиара — исчезла! Мало того, ушло самое воспоминание о нем и о многих связанных с ним, жестоко мучивших ее поступках ее и фактах... Она спокойно вошла в свою спальню, быстро разделась, потушила свечу и заснула мирно, без всяких дум и размышлений.

Ее не тревожили и сны. Проснувшись утром довольно поздно, она себя почувствовала спокойной, бодрой, в отличном расположении духа, чего с ней очень давно не бывало. Сначала она будто без внимания оставила и странный сон свой на балконе; но потом он ярко воскрес в ее памяти и, — удивительная вещь, — чем более проходило

времени, тем рельефнее выступали все его подробности, тем последовательнее воскресали в уме ее все речи невидимых сил, говоривших с нею на снежных горных высотах... Она восстановила их от слова до слова. Ей, наконец, стало казаться, что это не сон, а вещее видение, действительно, ниспосланное во спасение ей. Она, всегда боявшаяся одиночества, в последующие дни искала уединения. Как только оставалась она одна с самой собою, дивный сон ее вставал пред ней картиной, в малейших подробностях.

Помнила она и свой ответ и дивилась, чувствуя, что готова повторить его снова, что решимость ее отречься от прошлого, хотя бы путем великого страдания, росла и крепла в душе ее и теперь, наяву. Помня, как она только что боялась мести и злобы покорившего себе ее волю чародея, она дивилась своей стойкости и решимости и радовалась им, все сильнее проникаясь убеждением, что все это недаром ей послано, что благодаря чудесному вмешательству добрых сил в судьбу ее, она вступила на путь спасения.

XXII

Уж лето вошло в права свои; Майя была объявлена невестой графа Кармы и приближалось время, назначенное для их свадьбы. Ввиду близости венца, Орнаева отложила тоже отъезд свой, хотя ей пришлось неожиданно оставить замок Рейхштейн: его владелец скончался, а наследников его она совсем не знала. Живя не по найму, а как бы в гостях у покойного приятеля, ей пришлось немедленно очистить замок, куда явились представители новых собственников. Ринарди и Майя радостно предложили ей гостеприимство, разумеется, вместе с единственным гостем, не желавшим уезжать *quand même* — граф Арион тоже принял приглашение своего будущего тестя. Таким образом, шумный Рейхштейн, в продолжение почти года веселившийся и гремевший на весь округ, опустел и затих; но зато старый деревенский дом профессора оживился невиданным

многолюдством и веселием. Кроме живущих, в нем часто появлялись сторонние гости, которых его молодая хозяйка теперь не только не чуждалась, но сама охотно приглашала. Вскоре ожидали приезда ее петербургских приятелей: Бухаровых — будущих посаженных отца и матери невесты, и с ними двух-трех молодых людей в качестве шаферов.

Майю совсем нельзя было узнать, так она стала оживлена и весела. Теперь жених ее оказывался бóльшим любителем уединения и сельской тишины, нежели она. Он любил жизнь в деревне и предпочел бы тотчас после свадьбы ехать в свое имение; но Майя мечтала о поездке в чужие края, и он, разумеется, ей не противоречил.

Вообще, роли странно переменялись. Майя не любила теперь не только говорить о чудесах своего детства, но даже думать о них. Она избегала всякого напоминания о прошлом. Казалось, будто она стеснялась, стыдилась признавать его из ряда выходящие особенности. Она, которая так самостоятельно и безбоязненно прежде отстаивала самые невероятные его события, теперь настойчиво обо всем замалчивала, не желая даже графа посвящать в проявления того таинственного мира, который ныне сам от нее удалился.

— Все это ушло! Ничего более такого со мной не бывает и никогда не будет! — нетерпеливо отзывалась она на вопросы заинтересованного жениха своего и Орнаевой, которая вдруг стала особенно часто и настойчиво возвращаться к напоминаниям об «изумительных общениях Майи».

Раз даже она сердито остановила Софью Павловну, спросившую ее:

— Желали ль бы вы, чтоб ваш наставник, Белый брат, благословил союз ваш с Арианом на счастье всей жизни?

Майя вспыхнула и сердце ее болезненно сжалось.

— Зачем вы! — вскричала она чуть не со слезами негодования. — Зачем тревожите прошлое, невозможное?.. Зачем говорить о том, чего нет?

— Как о том, *чего нет*? — изумленно вскричала Орнаева. — Что ж, неужели вы будете теперь отрицать существование вашего учителя, Майя?

— Я не буду... Не могу отрицать то, что было, но я хочу сказать, что... они не вмешиваются в такие житейские дела, — в мелочи жизни! — тихо возразила она.

— Мелочи жизни, Майя?.. Что может быть важнее, серьезнее, священнее брака в человеческой жизни? — воскликнул граф Карма, присутствовавший при этом разговоре. — Что вы говорите, дорогая моя!.. Рождение, брак и смерть — три главные события в человеческой жизни.

— Разумеется, но не для них... Они не так смотрят на задачи бытия, как мы, простые люди. Для них все реальное — мелочь, скоропреходящая подробность земного существования, которое и само по себе не стоит заботы, — объяснила девушка, почему-то жестоко краснея.

— Разумеется, нам недоступны их знания, а потому невозможен их взгляд на вещи, — согласилась Орнаева. — Нам не знакомы источники, откуда проистекают любовь, красоты и радости земные; но они, — братья наши по смертной плоти, достигнувшие возможного на земле совершенства и мудрости, должны, однако, понимать, что хотя корень духовных благ и сокрыт от нас, но цветы доступны и составляют для многих одну отраду в жизни, переполненной тяжкими испытаниями... Не правда ли, профессор?

— Без сомнения, но что вы хотите доказать этим?

— А то, что, зная наши немощи, Белые братья...

— Если таковые точно существуют! — вставил, улыбаясь, граф Карма, часто недоумевавший, слушая такие беседы, не совсем ему понятные.

— Конечно! — кивнула ему головой Орнаева и продолжала, не смущаясь: — зная нашу слепоту и беспомощность, Белые братья, казалось бы, не должны, в общении с людьми, смотреть с *своих* высот, а снисходить до нашего немощного уровня. Я, по крайней мере, уверена, что покровитель Майи готов напутствовать ее своим благословением в новую жизнь.

— Если только сам покровитель этот не плод воображения этой маленькой фантазерки? — тихо шепнул граф Карма Майе, отойдя вслед за ней к дальнему окну.

— Ах! Если б только Софья Павловна оставила меня в покое! — раздражительно прошептала Майя.

— А что? — снисходительно улынулся жених ее. — Взрослую барышню конфузят напоминания о детских фантазиях, которыми девочка морочила окружающих ее?

— Нет, не то! — пробормотала, неопределенно улыбаясь и сильно краснее, Майя. — Но ей я никогда ничего не говорила, — папа, верно, ей рассказал! Так зачем же она ко мне пристает?!..

И, быстро повернувшись, она вышла на террасу и в сад, куда пошел за ней и граф Ариан, мало интересовавшийся отвлеченным разговором Орнаевой с хозяином дома.

Профессор и гостя его надолго углубились в мистическую беседу. По мере того, как все дива их прошлой жизни отходили на второй план в помыслах Майи, как яркие краски ее видений и самые речи Кассиния бледнели, испаряясь из памяти ее, будто невидимая рука стирала их и удаляла, — Софья Павловна, напротив, все более интересовалась ими, вникала в рассказы профессора, наводила его на них. Беседы с ней теперь были единственным развлечением его. Он отдыхал в обществе кузины более, чем когда-либо. Их всегда можно было видеть вместе, когда профессор не был специально занят в лаборатории; она даже часто с ним запиралась и в кабинете его, но в одном пункте с нею тоже произошла капитальная перемена, которую Ринарди никак не мог себе объяснить: она сделалась вдруг яркой противницей эксперимента его по указаниям графа Калиостро. Несколько раз даже она принималась горячо уверять его, что эта рукопись может быть поддельная; что если и нет, то ведь и Калиостро мог ошибаться, и что, во всяком случае, такие опыты не могут быть безопасны.

Она несказанно смущалась увлечением старика и несколько раз готова была признаться ему в истине. Но трудно это было. Сознаться в такой лжи, в таком искусном лицемерии! А главное, в помощи Велиара и братии его... В том, что она их сообщница и слуга!

Конечно, если б предвиделась какая-нибудь опасность, какой-нибудь вред ему или дочери его, Орнаева, в настоя-

щем своем настроении, решила бы на все; но она была совершенно убеждена, что «седьмая гроза и седьмая молния», — плоды ее собственного измышления, — пройдут, как и все другие молнии и грозы, не дав ни малейших результатов. Она желала лишь одного, чтоб скорее они грянули, чтоб и будущие молодые, и сама она могли оставить Ринарди безбоязненно, зная, что он разочаровался в своих надеждах еще раз и окончательно успокоился.

Перед свадьбой Майи, дня за два приехали Бухаровы и еще несколько гостей. Старый дом Майиных предков давно не видывал такого оживления и многолюдства; а сама она впервые прельщала всех своими хозяйскими заботами, любезностью и лаской. Всех — за некоторыми, впрочем, исключениями.

Бухаров в первый же день приезда заявил Орнаевой конфиденциально, сжав губы и вздернув брови со вздохом разочарования:

— Эге! Как изменилась наша бесплотная фея!.. Я надеялся, что любовь еще возвысит ее духовную красоту, но совсем нет! Как ни божественно красив ее избранник, но видно, ей тоже нужен был сифл или полубог, чтоб она могла любить, не заражаясь плотскими свойствами.

— Ты находишь, что она подурнела? — удивилась его жена.

— О, нет! — возразил художник. — Она так же прелестна; многие, вероятно, найдут, что она еще похорошела, но в ней... что-то изменилось, и сильно!.. Не могу даже определить, что именно? Выражение ли всего лица или взгляд ее утратил прежнюю искру «не от мира сего», но в ней чего-то нет! Что-то ушло!..

— Перестань фантазировать! — смеясь, остановила его жена. — Вам, — художникам-поэтам, — только бы витать в облаках и искать на земле неземных идеалов. Я так нахожу, что Майя стала еще красивее! Что она выиграла в живой окраске и блеске ее прежде туманных и гораздо менее выразительных глаз. Не правда ли, Софья Павловна?

— О! Женщины! Женщины! — с комической печалью вскричал Бухаров. — Вы видите только одну внешность, кра-

сивую окраску... Где вам уловить и оценить искру Божью в глазах человека!

Орнаева ничего не отвечала, неопределенно улыбаясь им обоим.

Она давно сама замечала изменение в наружности Майи; но та духовная, внутренняя перемена ее, которая лишь отражалась на внешности, казалась ей куда серьезней и печальней. Сердце Орнаевой теперь часто сжималось страхом сознания, что она во многом повинна в этой быстрой метаморфозе и ответственна за нее.

Дом так переполнился гостями, что весь нижний этаж был занят ими; Софья Павловна, как своя, любезно уступила свою комнату Бухаровым, а сама спала наверху. Майя предложила с ней разделить свою спальню, разгородив ее ширмой. Эта большая комната была составлена из двух разделенных аркой помещений; в одном была спальня молодой девушки, где она и осталась; в другой половине ее кабинет, в котором она теперь совсем не нуждалась, никогда более не занимаясь с тех пор, как стала невестой. Там поселилась Орнаева на последние сорок восемь часов, проводимые ею у родственников. Она имела в виду уехать тотчас же после брака и отъезда графа и графини де Карма, как ни противился тому и ни упрашивал ее не покидать его в полном одиночестве профессор, все еще лелеявший свои надежды. Она сама их у него не отымала, выжидая, что даст будущее? Вопрос, как устроится ее жизнь, почему-то ее совершенно перестал занимать... Орнаева сама себе дивилась! Ни прежних забот, ни сомнений, ни боязни за свою будущность она теперь не знала. Ей и думать лично о себе не хотелось... Она очень много думала о Майе и отце ее, сожалела и боялась за них обоих; но едва пыталась перенести заботу на себя, ей представлялся какой-то бланк... Совершенная пустота без желаний, без всяких чувств, ни стремлений, ни интересов. Кроме, впрочем, одного: желания проникнуть смысл своего загадочного видения; удостовериться, что это не пустой сон без всякого значения. Удостовериться она хотела бы! Ее к тому побуждала память прежней практичности; но, в сущности, она давно

была убеждена, что переживала великий кризис, и что ее нравственная перемена должна была закончиться чем-либо решительным и неожиданным — хотя самой себе не признавалась в этой уверенности.

Не без смущения, все чаще и дольше задумывалась Софья Павловна над своим обетом — обетом искупления многих своих прегрешений неведомой чашей страдания... Какова-то она будет?.. И когда пробьет ей час?.. Она не колебалась, хотя не могла порой не содрогаться в предвидении неведомого искуса.

Но стоило ей *вспомнить*, стоило перенестись к тому тяжкому мигу, который ей тогда, «*во сне*», — когда стояла она на девственных вершинах, где ей была дана свобода выбора, — было так тяжело пережить; стоило ей подумать, *что* бы ее ожидало, если б сама она не избрала благого удела, и прежняя решимость овладевала ею. А вместе с ней в душе ее водворялись мир и спокойствие. Как видно, ими не напрасно напутствовали ее неведомые голоса, когда роковая сила тянула ее с горных высот обратно на землю, — юдолю слез и страданий.

Вспоминая прежнее свое тревожное, часто мучительное существование в последние годы, когда она покорно несла непосильно-тяжкое иго Велиара, не смея помышлять об избавлении, с тем состоянием блаженного умиротворения и ясности духа, в которых она жила эти последние дни, несмотря даже на неведомый «меч Дамокла», висевший над нею, — Софья Павловна еще более укреплялась в доверии к своим новым покровителям и в надежде на помощь их.

XXIII

Накануне дня, назначенного для бракосочетания графа Кармы с дочерью его, профессор прислал за нею рано утром, едва она успела встать и одеться.

Майя, встревоженная, несмотря на разумное предположение Орнаевой, что отец просто желает с ней переговорить о делах без свидетелей, пока еще никто не выходил к завтраку, быстро спустилась вниз и, войдя в кабинет его, остановилась, пораженная.

— Папа! Ты болен?

— Нет, душа моя, нисколько! — спокойно отвечал он.

— Но ты ужасно изменился за эту ночь... Отчего же?

Ринарди протянул дочери руку, ласково улыбаясь, привлек ее к своему креслу и, обняв, заставил ее сесть на ручку кресла, как, бывало, она часто сживалась в душевных беседах с ним. Тут она увидела, что в руке его открытый медальон, — лучший портрет ее матери.

Профессор ей не дал времени выговорить нового вопроса:

— Оттого, моя душа, что, во-первых, в мои годы душевное беспокойство о счастии единственной дочери и о разлуке с ней — даром не проходит. А во-вторых...

— Но, папа! Еще вчера вечером ты смотрел совершенно здоровым, — перебила Майя, — а теперь...

— А во-вторых, — продолжал, не обращая внимания на перерыв, Ринарди, — я отвык за давностью лет, — он печально улыбнулся, — от таких радостных потрясений, в каких для меня прошла эта ночь...

— Что такое?.. Опять «белая женщина»? — тревожно осведомилась Майя.

Отец помедлил, любовно глядя на нее и загадочно улыбаясь. Наконец, он прошептал, крепче прижав ее к сердцу:

— Да, голубушка моя, Майинька: белая женщина! Но на этот раз я не буду тебя спрашивать, кто она?.. Мы ее хорошо знаем...

— Мама?!.. — закричала вне себя Майя, вскакивая и глядя на отца такими испуганными глазами, каких он никогда у ней не видел. — Мама была у тебя, отец!.. Зачем?..

Станный испуг и огорчение слышались в голосе ее. Они поразили профессора.

Он смотрел на Майю задумчивым взглядом, ожидая объяснений или сам размышляя.

— Зачем же она... явилась?.. — спросила опять Майя.

— Пришла!.. Сделалась видимой мне и говорила со мной! — поправил профессор.

— Ну да... Зачем?.. Зачем, накануне моей свадьбы!..

В голосе ее отцу послышалось небывалое раздражение.

Он посмотрел на нее вопросительно, долгим взглядом.

— Разве тебе и благословение матери так же теперь кажется излишним, как на днях ты заявила, что благословение Кассиния тебе более не нужно? — тихо спросил он.

Майя растерянно огляделась и вдруг, закрыв лицо руками, страстно заплакала.

Профессор совсем растрогажился и напугался.

Он начал успокаивать дочь; объяснять ей, что не знал, не думал никак, что она так примет... Рассчитывал ее порадовать, напротив. Майя, с своей стороны, просила прощения; объясняла отцу, что это «от неожиданности, от маленького расстройства духа», весьма понятного в ее обстоятельствах, — накануне разлуки и с ним, и с любимыми ею от колыбели людьми и местами. Накануне бесповоротного решения всей ее участи.

— Так она сказала тебе, что меня благословляет? — наконец спросила она, успокоившись.

— Да, — согласился профессор. — Она сказала, что мы вместе будем молиться о твоём земном счастье и... и небесном спасении.

— Как *вместе*? — опять испугалась Майя.

— Конечно, вместе! Разве ты думаешь, что я о тебе не молюсь? — слабо улыбаясь, объяснил ей отец и тотчас заключил: — Но знаешь ли, милочка моя, я лучше не стану более с тобой говорить об этом... Ты так нервно настроена сегодня. Зачем же расстраивать тебя окончательно накануне свадьбы и путешествия?.. Поди с Богом... Поди к жениху, к гостям... Я тоже сей час выйду...

Он встал, довел, обняв ее, до порога, там горячо ее поцеловал и отпустил. Но, печально глядя на нее, удалявшуюся в раздумьи, он вдруг будто встрепенулся, пораженный каким-то соображением, и закричал:

— Майя!

Ей послышалось сдержанное рыдание в этом призыве.

Она быстро обернулась и, вся бледная от волнения, подбежала к порогу комнаты, где он еще стоял.

— Майя, милое дитя мое! Я вспомнил... видишь ли...

Он, видимо, соображал свои слова, искал их в жестоком волнении, борясь между боязнью испугать ее и необходимостью исполнить задуманное им.

— Я должен тебе сказать... Передать слова твоей матери... Послушай: что бы ни случилось...

— Боже мой!.. С кем?! — отчаянно перебила его дочь.

— С кем?.. Все равно!.. Я не знаю. Она не сказала мне... Но слушай, Майя, и не забывай моих слов: помни, что чрез меня тебе говорит твоя умершая мать... Майя! *Что бы ни случилось с нами... со мною... с кем-либо из нас, — знай, Майя, что это случится к лучшему!.. «Время великой перемены — близко!»* Не забывай слов этих, Майя, и да послужат они тебе всесильным облегчением в час испытания!.. Прости, что огорчаю тебя, дитя мое! Но я размыслил, что обязанность моя не медлить, — тотчас передать тебе этот завет твоей матери. Мало этого! Уж прости мне, Майинька, и еще одну просьбу...

Ринарди быстро запер дверь кабинета, и, увлекая дочь за собою в следующую комнату, закончил:

— Я хочу здесь, с тобой наедине, сейчас благословить тебя... Майя! Дитя мое милое! Пойдем ко мне, туда, в спальню... Я покажу тебе, где она, мать твоя, стояла, и там же за нее и за себя тебя благословлю!

Когда, через несколько минут, Майя, растроганная и заплаканная, встала с колен и вышла от отца, старик, проводив ее, заперся на ключ и долго в этот день не выходил из своих комнат. Все заметили, что он побледнел и осунулся, как после болезни; но все понимали, что он не может быть равнодушен к разлуке с дочерью и, уважая его горе, молчали, делая вид, что не замечают ни его расстройств, ни заплаканных глаз Майи.

Только после обеда, когда все разбрелись по парку, Ариан, увидав себя, наконец, вдвоем со своей невестой, привлек ее к себе и спросил, в чем дело?.. Неужели временная

разлука с отцом так ужасно ее огорчает, что утешить ее не может даже его любовь и их будущее счастье?..

Майя рассказала ему все без утайки.

— Я боюсь, дорогой мой, чтоб это видение не знаменовало чего-нибудь печального! — прибавила она. — Какое несчастье нас может ожидать, что мать нашла необходимым предупредить нас о нем?

Но граф Ариан улыбнулся ее словам, как взрослый человек улыбается неосновательным печалям ребенка, и поспешил ее уверить, что сон ее отца лишь означает расстройство его духа и беспокойное состояние чувств.

— Да если и придавать какое-либо вещее значение предупреждению твоей матери, то и тогда чего ж тебе бояться, когда сама она просила тебя быть спокойной?.. Знать, что «это поведет к лучшему», к истинному благу! — успокаивал он ее.

Ему успокоить ее было нетрудно... Она скоро забывала с ним свои печали и сомнения; а против ее самых дорогих убеждений он один мог ратовать и заставлять ее их устранять, на веру перенимать его собственные... Уж такова всемогущественная сила любви.

Под влиянием его ласк Майя не только успокоилась, но и развеселилась до того, что и не заметила, как пролетел этот последний день ее девичьей жизни. Бухаров, вечный *boute-en-train* всякого общества, предложил вечером танцы на террасе, — в зале было бы, по общему мнению, жарко. Мигом рояль был прикачен поближе к дверям, и за него усажена жена Бухарова; а терраса освобождена от лишней мебели и освещена канделябрами, поставленными на все окна, цветными фонарями, развешанными в цветнике, и закипело веселье.

Стар и мал приняли участие в этом импровизированном бале. Майя и Бухаров объявили, что все, искренне желающие счастливой и радостной жизни будущим молодым, должны напутствовать их веселием, а по этому случаю и профессора, волей-неволей, поставили в пары.

Часа в два ночи едва успокоились и крепко заснули, после денной устали и добровольного вечернего беснова-

ния, хозяева и гости, переполнявшие дом профессора. Он бы и сам охотно лег, но, взглянув на барометр и выйдя вслед за тем на балкон, он весь встрепенулся, а сон и усталость мигом с него отлетели.

После жаркого июльского дня, очевидно, собиралась гроза, в это безгрозное лето всего *седьмая* по счету, давно им нетерпеливо ожидавшаяся гроза.

Профессор мигом распорядился, собрал свои пожитки, захватил глухой фонарь и, осторожно отпирая и запирая за собой тщательно двери, прокрался из дома в цветник и, тотчас свернув направо, углубился в чащу сада. Минувя дорожки, он напрямик спешил к павильону, в глухую часть парка, где им все было заранее заготовлено ради приближавшегося «великого события». В нем не было ни искры сомнения, что эта гроза — *великое* событие, и результаты ее не для него одного будут велики.

Весь дрожа от тревоги, от боязни не успеть, пропустить желанное мгновение, Ринарди наконец, задыхаясь от быстрой ходьбы и волнения, достиг до маленькой избушки, крытой соломой. Это и был так называемый павильон, склад старых садовых орудий и глиняных цветочных горшков, который недавно был им изъят из ведения садовника и тщательно заперт на ключ. Это маленькое, никуда не годное строение профессор издавна решил предать возможности сгореть. Его пожара бояться было нечего, — оно от всего было удалено, стоя особняком на полянке у рва, окружавшего парк. Даже деревья не могли воспламениться его огнем, потому что их густая стена возвышалась в некотором расстоянии.

Дрожащей рукой отпер профессор замок низенькой двери, усердно прислушиваясь и приглядываясь. Едва он черкнул спичкой, собираясь зажечь фонарь, голубой отблеск молнии мгновенно осветил окрестности, и не успел он сосчитать до десяти, как глухой, внушительный гул разнесся по лесам и долинам.

«Ого! — подумал он. — Близка гроза! Надо спешить!»

И, совершив несколько «необходимых приготовлений», Ринарди вышел из павильона и стал вдали, под навесом

деревьев, не обращая ни малейшего внимания на тяжелые капли дождя, начинавшие шлепать по листве. Он устремил пристальный взор на крышу павильона, стараясь сосредоточить на нем всю силу воли, весь магнетизм интенсивного желания, на которое был способен.

Он что-то шептал побелевшими, дрожавшими губами, считая молнии и высчитывая мысленно быстроту приближения грозы; мучаясь тем, что тучи, может быть, изменят направление, пронесутся мимо, он беспокойно следил за их ростом.

Теперь они черной грядой тянулись с запада на восток, откуда подымалась луна на ущербе. Ее осколок, как четвертушка гигантской жемчужины, заброшенной на горизонт, печально сиял, освещая фантастическим светом тянувшиеся к нему облака. Они живописно клубились в просветах молнии, то и дело вспыхивая ее перелетными изломами.

Эффект этих разнородных освещений, молочно-белого сияния луны и огненных вспышек электричества в недрах туч, был поразителен. Между ударами грома, потрясавшими воздух, шепот начинавшегося дождя и заунывные песни ветра в деревьях разносились подобно гулу дальнего водопада.

Поэт в душе, Ринарди, несмотря на крайнее возбуждение, не мог не любоваться этой величественной картиной. Вдруг хижина-павильон озарилась, в просветах деревьев, сторонним, красноватым светом. Что это значит?.. Профессор быстро оглянулся. Ничего не было видно... Ему, вероятно, показалось.

Яркая молния, разорвавшая тьму почти одновременно с рокотом грома, прервала его размышления и отвлекла от всего, кроме ожидания следующего удара, — роковой, седьмой вспышки электричества. Сбудутся его ожидания, расчеты, мечты?.. Сбудутся ль, нет ли?.. Он весь превратился в ожидание, в страстный порыв призыва, надежды и воли. Кровь стучала ему в виски, сердце то билось отчаянно, то замирало так, что ему дыхание спирало в груди до боли.

Не сводя глаз с расстилавшегося по небу мохнатого, безобразного чудища, стояла в это время и Софья Павловна на балконе вышки, где она временно поселилась в Майиной комнате. В другом конце ее хозяйка, утомленная беспокойным днем и вечерним весельем, спала безмятежно, несмотря на раскаты грома; но Орнаеву они не допустили заснуть. Не боясь грозы, она вышла, осторожно притворив двери балкона, и стояла, любуясь живописным хаосом.

Крупный ливень приближался, быстро наполняя светлую ночь мглой и шипением. Черное чудовище на небе разрасталось, надвигаясь и развертываясь клубами; вот одна из широких лап его доползла до востока и набросила на месяц темный покров.

Все сразу потемнело, будто бы небо, как нахлобученная шапка, спустилось на землю, прикрыв лицо ее, и все слилось в бесформенный, завывающий, шипящий хаос, от времени до времени разрываемый молниями и потрясаемый раскатами грома.

Но что это за странные багровые вспышки порой пронизывают мглу непогоды?.. Они то вспыхивают совсем другим светом, чем молния, то полосами ложатся на туман, и сквозь дождевые потоки бросают на ближайшие предметы алые отблески... Откуда этот свет?..

Вдруг Орнаева ахнула, и, несмотря на ливень, решительно перевесилась за перила, заглядывая на лабораторию профессора и вышку над ней. Ей пришла мысль: не *седьмая* ли это, роковая гроза?.. Не профессор ли там, увлекаясь своими опытами и калиостровской магией, наделал какой-нибудь беды, зажег что-нибудь?.. Нет, слава Богу! Там все темно... Он, вероятно, тоже заснул крепко, утомленный...

«Проспит свою седьмую грозу, и магического огня не добудет!» — подумала, невольно улыбаясь над завтрашней досадой своего родственника, Орнаева.

В эту секунду послышался какой-то продолжительный треск, багровый свет вспыхнул ярче, а за ним, снизу, дом

ярко осветился и огненная заря легла на цветник и ближайшия деревья.

«Пожар! — мелькнуло ей страшное соображение. — Загорелось в гостиной, — красный свет от обоев, от занавесей, пока они не загорелись».

— Майя! Дитя мое!.. Вставайте! — закричала она, пробегая мимо сладко спавшей девушки. — Скорей! Скорей, ради Господа Бога! Внизу, в гостиной и столовой, кажется, горит!..

Майя вскочила, протирая глаза, ничего еще не соображая.

— Скорей одевайтесь, Майя! Накиньте что-нибудь... Внизу пожар! — еще раз крикнула ей Софья Павловна и бросилась к дверям следующей, маленькой комнатки, откуда была дверь на лестницу.

Но едва она ее открыла, клубы дыма, пополам с пламенными языками, ворвались снизу. Коридор был полон огня и смирада.

Отчаянный, продолжительный крик обеих женщин окончательно перебудил всех спавших в доме. Внизу, впрочем, и без того уже просыпались от трескотни, дыма и жару. Из нижних комнат ходы были свободны; горели только смежные с помещением хозяина дома приемные, да та сторона коридора, откуда шла единственная лестница в покои Майи. По ней пройти нельзя было уже задолго до того, как вверху, в дверях, показалась Орнаева.

Едва успела она захлопнуть двери, что-то там внизу затрещало и с грохотом повалилось. В то же время отчаянные крики и шум поднялись по всему дому, во дворе раздался звон в колокол, беготня, чьи-то громкие, повелительные распоряжения.

Майя, поняв, наконец, в чем дело, бросилась было на лестницу с отчаянным воплем: «Ариан! Отец!» — но Орнаева ее перехватила и захлопнула перед ней и вторую дверь в ее комнату.

— Туда нельзя! Разве не видите вы?.. Лестница горит!.. Нам одно спасение — балкон! — кричала она, схватив за руку девушку, лишившуюся всякого соображения. — Пойми-

те же, не медлите! Скорее туда, на балкон... Боже мой!

Но тут только она заметила, что Майя совсем раздета. Она сорвала с вешалки какой-то пеньюар, схватила одеяло с постели, и, закутав вырывавшуюся из рук ее Майю, напрасно тянула ее к выходу.

Наконец Орнаева поняла, что напрасно с ней теряет время, что надо действовать не убеждениями, а силой. С удивительным присутствием духа и быстротой она бросилась к дверям, заперла их, и выхватив ключ, подбежала к балкону.

Цветник был полон народа. Никого не узнавая, она отчаянно стала звать на помощь.

— Сюда! Сюда!.. Несите нам лестницу!..

Тут она увидела графа и Бухарова, метавшихся вниз; люди со двора уже тащили лестницы.

— Сюда! Скорее, Ариан!.. Спасите Майю!.. Скорее!.. Ей дурно... Я не могу одна...

И точно. Майя в эту минуту схватилась за голову и без чувств упала на пол. Черный дым и огненные струйки врывались в замочную скважину, ползли в щели из-под дверей. Еще минута, и упавшее с Майи одеяло задымилось и вспыхнуло... Она лежала в обмороке на полу, в двух шагах от огня.

Вне себя, Орнаева бросилась к ней.

Поднять ее, дотащить только до балкона, и она спасена. Но бедная женщина чувствовала, что у нее подкашиваются ноги, кружится голова, что она сама обессилела и готова упасть.

— О, Боже мой!.. О, Господи! Дай мне сил!.. Помогите мне ее спасти! — страстно вскричала она, забывая о себе самой.

В эту секунду в середине комнаты, между балконом и ими, раздался треск и пол вспыхнул синим пламенем. Но Софья Павловна смотрела не на огонь, а на внезапно возникшего пред ними человека в белой одежде.

Величественный, спокойный, печально улыбающийся ей, он простер руку свою над безжизненным телом девушки, и вдруг оно стало легко, как тело малого ребенка, на руках Софьи Павловны. Без усилия донесла она Майю до

балкона, а сама смотрела, не спуская глаз с белого человека.

Он стоял у самого огня, не обращая на него внимания, глядя на нее глубоким, ласковым взглядом.

В эту минуту над перилами балкона показалась голова графа Кармы. Миг, и он перепрыгнул на балкон и, на пороге пылавшей комнаты, принял свою невесту.

— Вот она! Берите ее! Невредима — благодаря Белому брату! — прошептала Орнаева, с рук на руки передавая бесчувственную Майю.

Но Ариан не расслышал ее слов.

Он схватил в объятия девушку, перешагнул через перила со своей дорогой ношей и закричал ей:

— Сейчас! Я сейчас помогу вам сойти!

Но когда граф передал свою невесту на руки Бухарову, стоявшему на полпути к земле, и поспешно избежал снова вверх, он не успел подать руки Софье Павловне, — она лишь мелькнула перед ним на пороге комнаты, падая внутрь ее, вся охваченная пламенем, и исчезла в дыме и грохоте провалившегося пола.

Через несколько часов, когда не столько усилия людские, как дождь, не перестававший идти до утра, прекратил пожар, обугленное тело Орнаевой было найдено среди дымившихся головней гостиной, откуда и занялся огонь по неизвестной и совершенно непонятной причине. Она и сам хозяин дома оказались единственными жертвами этой ужасной катастрофы.

Но профессор Ринарди погиб не от огня. Смерть его тоже оказалась фактом загадочным.

Остывшее тело его было найдено на другой день в некотором расстоянии от дома, в чаще парка. Фонарь, оброненный им по направлению к павильону, и отворенная дверь его указывали, что профессор зачем-то ходил туда ночью. Предполагать надо было, что он, занимаясь чем-то в хижине во время грозы, неожиданно заметил в стороне дома огонь, побежал к нему, но, увидав пожар, был сражен на месте. Вскрытие тела подтвердило эти предположения: профессор скончался мгновенно, от разрыва сердца.

Дом сгорел не совсем: только пустые ночью приемные комнаты и над ними все помещение Майи. Этим обстоятельством и объяснилось, что ни одна душа, кроме хозяина дома и его так несчастно погибшей родственницы, ничем не поплатилась, кроме разве испуга. Майя Ринарди не потерпела от огня ни единым ожогом; зато впоследствии едва не поплатилась жизнью или рассудком, — оба эти бедствия ей одинаково грозили во время ее продолжительной болезни. Тем не менее многие доктора нашли, что нервная горячка явилась благотельным исходом и спасла ее от сумасшествия.

Бухаровы, с истинным самоотвержением приютившие и вынянчившие ее, не могли потом во всю жизнь достаточно надивиться последовательности болезненных видений Майи и ее удивительному бреду.

В полном забытии, но с широко открытыми глазами, Майя вела целые разговоры с личностями, порожденными ее фантазией. Что ей представлялись умершие, — отец ее, мать и Софья Павловна, — тому не удивлялись окружающие: это было в порядке вещей! Но она всего дольше и чаще беседовала с каким-то *Кассинием*, — личностью совершенно неведомой ее новым друзьям, — «вероятно, измышленной ее больным воображением», предполагали Бухаровы. Но граф Ариан, знавший более их, сердито хмурил брови, когда они ему рассказывали об этом бреде, хотя с намерением не желал ничего объяснять по этому предмету.

— Очень, очень странный вид бреда! — говорили доктора. — Он только и может объясниться тем, что субъект и вне болезненного состояния ненормален... Ведь эта девушка с рождения была подвержена галлюцинациям, — не так ли?.. Вероятно, этот друг ее, — этот Кассиний, к которому она питает также неограниченное доверие, — воплощение одного из ее пунктов. Отсюда и последовательность и *quasi*-осмысленность свиданий с ним и их бесед.

— Да, может быть! — задумчиво отзывались на такие определения Бухаровы. — Тем не менее, очень жаль, что мы осуждены слышать лишь одну сторону этих бесед.

Когда Майя, наконец, окончательно вернулась к действительной жизни и начала поправляться, она, казалось, утратила всякое воспоминание о своих видениях. Жестокое горе ее по отцу превратилось в тихую печаль, и та понемногу улеглась и забылась, как забывается все на свете, в особенности, если человек счастлив.

А Майя была, действительно, счастлива в супружестве и в семейной жизни. Муж ее, граф Ариан де Карма, сдержал все свои обещания: он горячо любил жену и всю жизнь свою посвящал семье.

Прошло лет десять. Старый дом профессора Ринарди стоял пустой, угрюмый, наполовину разрушенный, наполовину заколоченный. Никто не жил в нем. Имение сдавалось на аренду; со времени катастрофы молодая его хозяйка ни разу не возвращалась на родное пепелище, вероятно, и его предав забвению, как и все свое чудесное детство и юность. Графиня Мария де Карма жила то в столицах, то за границей, то в имениях своего мужа, в Малороссии. Последние годы они больше зимовали в Италии, а летом жили на берегах Днепра, где добрые знакомые любили проводить у них дни и недели, не скучая нимало в этой счастливой и богато одаренной семье. Бухаровы были, разумеется, их желанными гостями. Оба они, муж и жена, находили неисчерпаемые предметы интереса в беседах с ними. В графе Ариане развилась в последние годы страсть к искусствам, в особенности к живописи, а жена его была такая замечательная музыкантша, что истинному художнику, подобному Бухарову, с ними проводить время было настоящим наслаждением.

Дружба их возрастала с каждым годом, но как зорко ни следил Бухаров, — в котором с годами все сильнее развивалась склонность к мистицизму, — за образом жизни, занятиями и разговорами графини, он никогда не находил в них ни намека на былые проявления неведомых сил и таинственных явлений, ее окружавших.

Она даже не любила разговоров о чем-либо отвлеченном, выходящем из обыденного и вполне реального; но, что окончательно было странно и приводило всех, знав-

ших прежде графиню, в изумление, это было непритворное, искреннее, полнейшее забвение ею того, что она так горячо прежде отстаивала. Она не только забыла свои «сны», все касавшееся ее волшебных путешествий, «Приют мира» или уроки Кассиния, — она утратила воспоминание о нем самом! Благо, не оставалось у нее ничего, существенно его напоминавшего; ее тетради, дневники, самый медальон, — талисман, данный ей Белым братом, — все было уничтожено пожаром, все исчезло в этом кризисе ее жизни. Она в общих чертах сохранила впечатление, что в детстве и ранней юности была большой фантазеркой и мечтательницей; чуть ли не ясновидящим, истерическим субъектом, подверженным всяким галлюцинациям. Она стыдилась этих, — «милостью Божией исчезнувших» — болезненных явлений; радовалась, что и памяти об этом ни у кого не осталось, что она порвала навсегда с той местностью и людьми, где могли еще помнить «об этих безумиях».

Муж ее, зная, как неприятны ей напоминания о прошлом, никогда ей не говорил о нем; он просил и Бухаровых, и всех, которые могли что-либо слышать о «болезненном детстве» Майи, не спрашивать ее и никогда не напоминать о нем, в особенности быть осторожными при детях их.

Раз только, оставшись наедине с графиней на балконе их деревенского дома, Бухаров, долго задумчиво глядя на ясное и красивое лицо ее, спросил:

— Скажите, Марья Францевна, вы не помните, что именно вам представлялось во время вашей болезни, — когда мы с вами приехали в Петербург после похорон вашего батюшки?.. Простите меня, что я вам напоминаю такое тяжелое время, но, право, ваш бред был так последователен, так интересен, что я давно хотел спросить вас... Не вспомните ли вы, — с кем вы вели такие продолжительные беседы?

Майя посмотрела на него большими глазами, вся вспыхнув от волнения, но взгляд ее был прям, без признаков смущения, и только слегка удивлен.

— Нет! — возразила она, отрицательно повертев головой. — А что же я говорила в бреду? Скажите!

— Вы много беседовали с кем-то... С каким-то *Кассинием*... Вы его упрасивали не оставлять вас в свете... Не лишать вас возможности снова увидеть какой-то *«Приют мира»*... Вы все просили *«Белых братьев и сестер»*... научить вас читать в какой-то *«книге земного бытия»*... Вы уверяли их, что не хотите земного счастья, а желаете себя обречь на служение миру, на ознакомление людей «с таинствами бытия»... Вы не вспоминаете?

Опять медленное, сознательное отрицание головой, — любопытствующий взгляд и вопрос:

— Ну?... А мне что же отвечали эти белые люди?

Бухаров засмеялся.

— Ответов-то ваших таинственных собеседников я никак слышать не мог!.. Они, видно, для вас одной предназначались... Мы с женой только могли отчасти судить о них по вашим возражениям. Мы поняли, что ваш таинственный Кассиний указывал вам на невозможность *«возвратить прошлое»*... Кажется, он вам внушал, что теперь, когда вас любит жених, и вы его полюбили, — вы более не свободны, и обязанности ваши изменились... Он даже утешал вас, очевидно, потому что раз вы закричали в ужасном возбуждении: «Не утешай меня, Кассиний! Это не то! Не то!.. Не в мирской жизни хотела я найти счастье и спасение»... А в другой раз вы перепугали жену мою отчаянными рыданиями и возгласом: — «Так все потеряно?!. О! Карма! Карма! Карма!»

— Вот странно! — изумилась Майя. — Зачем же я звала Ариана?... Неужели я его в чем-нибудь упрекала?

— А уж не знаю... Вы часто произносили его фамилию, без всякой видимой связи с другими словами! — подтвердил художник.

— Это-то понятно! — засмеялась Майя. — Какую же связь захотели вы найти в бреду?

— Так ничего в этом вы не понимаете, не помните и объяснить не можете? — в раздумьи переспросил Бухаров.

— Совершенно ничего! — подтвердила Майя. — И вообще, я должна вам признаться в этой странности, которой сама часто дивлюсь: моя детская и девичья жизнь будто

стерта из моей памяти!.. Уверяю вас, что мне даже все труднее вспоминать отца и нашу с ним жизнь вдвоем, до самого знакомства с Арианом. Со времени моей с ним встречи — жизнь светлеет... А до того — будто один бланк!.. Ничего не осталось в моей памяти после той ужасной катастрофы и моей болезни.

Она глубоко, но не печально вздохнула, прибавив:

— Мне часто кажется, мой друг, что я родилась на свет Божий в девятнадцать лет, — в год моей свадьбы. Ну, право же, настоящая, сознательная и — слава Богу — счастливая жизнь для меня наступила лишь десять лет тому назад!

Приложения

ВИДЕНИЕ В КРИСТАЛЛЕ

Когда я в 1890 году была в Лондоне, то часто встречалась в одном знакомом доме с богатым американцем, большим путешественником и лингвистом, к удивлению моему хорошо знавшим русскую литературу и если не говорившим особенно бегло, зато прекрасно понимавшим наш язык. Он удивил меня еще более знанием русских обычаев, суеверий, гаданий. На мое изумление по этому поводу он засмеялся и возразил:

— У меня хорошая память, а два тома русских сказаний Сахарова — моя настольная книга... И знаете ли, когда я жил в Индии, — я четыре года провел на Ганге и за Гангом, — я занимался сравнением ваших поверий и гаданий с древними индусскими верованиями и, право же, нашел много схожего. Между прочим, знаете ли, что индусские девушки тоже в зеркало, или все равно — в воду или стекло, смотрят, гадая о суженом. Мало этого, их поверье говорит, что лучшее время для гаданий — час перехода старого года в новый!..

По этому поводу поднялись расспросы и общий разговор, под шумок которого мистер Л-инг сказал мне, смеясь:

— Я знаю, что вы любите *такие* особенные происшествия, которым не все верят. Хотите, я вам дам прочесть и даже подарю одну маленькую рукопись о том, как я раз вздумал «гадать» (он это слово сказал по-русски) под Новый год, живя возле Дерджеллинга, и что из этого вышло.

Я отвечала, что буду очень рада, и спросила:

— А рассказать об этом в России можно?

Он подумал и отвечал:

— Рассказывайте, кому хотите, устно, но напечатать это даю вам право только после моей смерти. Иначе меня у вас засмеют, когда я приеду в Петербург. А я непременно думаю у вас еще погостить.

Исполняя его желание, я молчала и только теперь решилась предать гласности его рукопись, потому что м-р

Л-инг, к сожалению, погиб в Чикаго в одной из многих печальных катастроф, ознаменовавших мировое столпотворение нынешнего года. Вот она.

Смолоду я был большой мечтатель. Катался по земному шару не с одной лишь научной целью или ради удовольствия, а с тайной надеждой одолеть некоторые тайны космические и силы природы, мало кому ведомые. В Индии я решил употребить все средства, чтоб познакомиться с искусством факиров, а по возможности, проникнуть в более отвлеченные и сокровенные таинства знаний раджейгогов, высших знатоков оккультизма. С этой целью я избегал модных центров, стараясь внутри страны найти учителя, действительно ученого, а не шарлатана, каких там много. Мне посчастливилось напасть на такого. Мое основательное знание санскритского языка помогло теоретическим занятиям нашим идти быстро, и наступал уже срок, назначенный моим гуру (учителем) для начала практических опытов, когда вдруг в конце декабря он сильно заболел. Я навещал его, опасность миновала, но болезнь была из тех, которые требуют долгого выздоровления и предосторожностей.

Я очень скучал без моего наставника, но решил исполнить его просьбу — ничего не предпринимать нового без него.

В один вечер ко мне прибежал юноша с запиской. Я прочел в ней следующее: «Не пугайтесь, молодой друг мой, если я буду в отсутствии дней семь, а может быть и более. Чтоб мое тело скорее поправилось, я решился дать ему хороший физический и духовный отдых. Я уйду. Оставлю его на время отдохнуть в летаргии. Ждите меня через неделю. Дхарма Састри».

Я тотчас последовал за мальчиком в их бенглоу, плетенный из тростника шалаш, осененный пальмами, где он жил с этим юношей, подобранным им в лесу. Туда его, вероят-

но, снесла на гибель грешная мать, а гуру его вырастил и готовился из него сделать такого же мудреца, каким был сам... И нашел наставника недвижимым и бездыханным... По-видимому, на ложе покоилось его безжизненное тело; но я, зная, что значило выражение его: «Я на время *уйду*», не испугался, тем более что воспитанник его казался совершенно спокойным, уверяя, что это явление не впервые случается с Дхарма Састри, что после такого «отсутствия» он всегда становится бодрее и здоровее. Надо сказать, что на вид мой гуру был человек лет сорока, но местные старики меня уверяли, что не помнили его другим, что он гораздо старше их. Это был скромный, тихий человек, худой и небольшого роста, совсем обыкновенной наружности, только резко очерченный подбородок и сильно выдававшийся лоб изобличали в нем силу воли и способность глубоко мыслить, сосредотачиваясь на одном предмете или цели. Я видел в нем еще одну замечательную черту: моему, глаза его меняли не только выражение, но и цвет... Но другие этого не замечали.

Итак, я оставил его в трансе, уверенный, что не увижу его оживления ранее недели. Прощаясь, я спросил мальчика, не боится ли он оставаться один с бесчувственным и недвижимым учителем в лесу, где много змей и диких зверей, а, пожалуй, и недобрых людей. Мальчик уверенно покачал головой, возразив, что недобрых людей для них нет — гуру все любят, не только люди, но и звери; а от всякого зла хранят их «добрые силы — Питри».

Я слышал об этом поверье и оставил их успокоенный.

Прошло дня три. Я занимался, навещал «спавшего» учителя, но сильно скучал и с нетерпением ждал, чтоб он очнулся... В один вечер я засиделся за чтением; пробило одиннадцать ударов, и вдруг я вспомнил, что сегодня везде празднуют канун Нового года... «Многие в России, да, пожалуй, и здесь гадают! — пришло мне на мысль. — Ну-ка и я, от нечего делать, посмотрю в кристалл!» Вздумано — сделано.

Я вынул из стола свое «магическое зеркало», приобретенное мною еще в Нью-Йорке; усадил его перед собою

между двумя свечками так, чтобы в нем ничто не отражалось, и стал пристально смотреть в его выпуклый, гладкий кружок... Сначала он представлялся мне просто черным пятном. Потом по его черной поверхности начали пробегать какие-то тени, полосы, колонны, и вдруг выяснились великолепные развалины чудного храма на фоне тропического леса.

«Точно ли я это вижу?.. Уж не заснул ли я?» — подумалось мне. Я решил было ущипнуть себя за руку, чтобы удостовериться, что я не задремал, как вдруг между моим взором и стеклом легла маленькая бронзовая, хорошо мне знакомая рука...

Я радостно вскочил: предо мной стоял Дхарма Састри, улыбаясь и качая головой в своем белом тюрбане.

— Нехорошо! Ослушник! — говорил он. — Я ведь просил без меня не заниматься опытами оккультизма!

— Какой же это оккультизм? — оправдывался я между восклицаниями радости по поводу его выздоровления. — Простая шутка от безделья!.. Так вы проснулись ранее, чем предполагали?

— Да, я поправился, — сказал он просто. — Но вы напрасно называете бездельной шуткой *вопросение кристалла*. От этого древнего храма, который начинал пред вами выясняться, нескромное американское стекло ваше могло перейти к предметам, которых вам лучше поверхностно не касаться, если вы точно намерены ими заняться серьезно и последовательно... Пойдемте лучше прогуляемся! Ночь хороша. Если желаете, я покажу вам в действительности развалины, заинтересовавшие вас в этом стекле.

Я радостно согласился, удивившись, что не знал о существовании поблизости такого интересного места.

Мы вышли в ярко-волшебную ночь, сияющую, как прозрачный жемчуг, усеянный бриллиантовой пылью. Темней всего был купол небесный, с высоты которого изливалось на все красоты земные сияние разноцветных светил, горевших в темно—синей его глубине. Мы очень скоро достигли величественной колоннады на опушке леса, казавшегося издали сотканным из черного и серебряного кружева. Один

из резных порталов здания был особенно ярко залит светом луны, а из таинственной глубины его эффектно мигало, то вспыхивая, то потухая, багровое пламя, будто бы там, внутри храма, разложен был костер или курился жертвенник...

Индуc указал мне на какой-то гранитный обломок, поросший лианами и папоротником, и мерными шагами направился было к храму, но вдруг обернулся и сказал:

— Вы спрашивали три дня тому назад, — я слышал ваш вопрос, — кто бережет меня от змей и тигров?.. Вы увидите одного из тех, которые многих охраняют от диких зверей: один из них живет неподалеку и часто сюда приходит... Только, прошу вас, помните, что двигаться одному с этого места, — что бы ни случилось, — для вас опасно!

Он продолжал свой путь и исчез под колоннадой храма.

Я ждал и дожидаться не мог появления гуру! Глаза мои устали, так напряженно, до боли, до слез, смотрел я в таинственную мглу за колоннадой... Почему-то она, и тишь, меня окружавшая, и неподвижность, и мое одиночество — меня начинали страшить... На меня опускалась какая-то тяжесть, какое-то недоумение и ожидание, невыносимо мучительные!.. Я начинал терять представление о действительности, сознание окружавшего меня расплывалось в чувстве неизвестности, тоски, ужасающего страха. Надо бежать! Уйти отсюда, подумал я, но вспомнил, что сказал мне Дхарма Састри, и остановился...

Пред моими глазами открылась панорама громадного города. Я видел его а *vol d'oiseau* и узнал в нем, несомненно, один из наших больших американских городов. Он показался мне украшенным, увеличенным какими-то увеселительными зданиями... Он весь сиял и пестрел праздничными огнями, украшениями, флагами, движением и суетой. Толпы народа стремились в одном направлении, и я последовал за ними в самый центр праздничного оживления среди красивых, громадных зданий. Я силился понять, что это именно за город, где я?.. Вдруг я увидел огромное пламя!.. Что-то горело! Все бежали в ту сторону, на

пожар, и я там очутился. Я сразу увидел ужасное зрелище: предо мной несколько человек бегали в пламени, ища спасения, выхода из какого-то высокого здания, охваченного огнем, и среди этих людей я узнал самого себя...

Это зрелище меня крайне неприятно удивило. Я, разумеется, бросился самому себе на помощь в убеждении, что мне ничего нет легче, как поднять себя или свой двойник, метавшийся там, внизу в огне, до безопасных высот, с которых сам я смотрел на пожар; но чуть прикоснувшись к тому, другому себе, я вдруг увидел, что не я его уношу вверх, а, напротив, он меня увлекает вниз, в огонь...

С громом провалился под нами пол, и мы стремглав полетели в разверзшуюся под нами огненную бездну...

Я закричал, как полоумный, во всю силу своих легких, убежденный, что горю...

— Саиб! Саиб!.. Что с вами? Отчего вы так ужасно кричите?

«А!.. Наконец-то пришел за мною Дхарма Састри!» — пронеслась в мозгу моем сознательная мысль, и я с трудом пошевелился.

— Ну, благодарение небу, вы вернулись!.. Мне тут без вас снились такие сны! — с великим усилием промолвил я.

— Как? Разве вы спали?.. Когда вы закричали, я вбежал и нашел вас сидящим перед стеклом, совершенно прямо, с открытыми глазами... Вы смотрели прямо в это стекло! — услышал я недоуменный голос совсем не своего ученого индуса.

Я обвел глазами все окружающее, стараясь отрезвиться, и с изумлением сообразил, что я сижу у стола в своей комнате перед «магическим кристаллом», а предо мной стоит мой бенгалец, слуга, привезенный мной из Калькутты.

— А Дхарма Састри? — спросил я. — Где он?

— Не знаю... Верно, в своем бенглоу. Саиб говорил ведь, что он болен...

— Да он сейчас был здесь! — закричал я. — Я пойду к нему, спрошу его, что это значит?

Я говорил сам с собой, будто бредя. Бенгалец мой, очевидно, испуганный моим возбужденным состоянием, несме-

ло заметил:

— Куда же саиб ночью пойдет? Не лучше ли дожидаться утра?

Я вынул часы и посмотрел... Было пять минут первого... А я сел смотреть в кристалл без десяти минут в полночь. Значит, со всем моим бодрствованием, когда еще не приходил Дхарма Састри (я был убежден, что он приходил!), и со всем переполохом моего пробуждения прошло едва четверть часа?.. Собственно, проспал я и видел все эти цветистые сны в продолжение каких-нибудь пяти минут, если не менее...

А сколько картин! Сколько ощущений!.. Подлинно, годы могли порой совместиться в одном мгновении!

Я отослал слугу, лег и проспал до утра непробудно.

Едва проснувшись, я наскоро оделся, позавтракал и побежал к Дхарме Састри. Я был совершенно уверен, что он посетил меня, застал за контрабандным занятием и навел на меня магнетический сон, в котором я увидел нашу прогулку и все последующее.

Я издали увидел его воспитанника, сидевшего на ступеньках бенглоу пригорюнившись. Он, видимо, мне обрадовался, встал и пошел мне навстречу.

— Ну что, — спросил я, — твой хозяин здоров?

— Ничего! — ответил он. — Спокоен... Вот жду: дня через два, надеюсь, проснется... Так скучно одному, пока его нет!

Я только посмотрел на мальчика, но ничего не возразил, а вошел в хижину гуру.

Он лежал на прежнем месте неподвижен и по-прежнему совершенно бесчувствен.

Я долго смотрел в недоумении и молча ушел, попросив юношу сейчас дать мне знать, когда он очнется. Трудно было мне убедиться, что и приход его был простой сон!

Очнулся Дхарма Састри после того на третий день и сам пришел ко мне бодрый и веселый.

Первый мой вопрос был:

— Вы ли это?.. Или опять ваш двойник?..

— Нет, на сей раз я сам, в собственном теле, — отвечал он. — Можете пожать мне руку — *shake hands*.

Я так и сделал, встряхнув ее покрепче, и собирался спросить, что это было со мной? когда он сказал, не ожидая вопроса, хитро мне подмигнул:

— А вы без меня наколобродили?.. Судьбу вопрошали?.. Нехорошо!.. Вот вас бхуты (кикиморы) и напугали! И позабавились над вами... Да и нашим занятиям такое нарушение дисциплины может повредить.

Я только воззрился на него вопросительно.

— Так вы-таки знаете?.. Вы были у меня?

— Был, волей своей и мыслью и желанием оградить вас от... того, что вы видели... Зачем вам было добиваться сокровенного, — с улыбкой договорил Дхарма Састри, — и не приснился бы вам ваш тревожный сон!

— Так вы все знаете? — спросил я. — В таком случае, скажите: как понять мне мое видение? Неужели это ответ на желание мое узнать, какую смертью я умру?

Мой гуру нахмурил густые брови, и глаза его потемнели, как черная пучина.

— Вы знаете, сэр, — сказал он, — что я противник всяких предсказаний и никому не советую вопрошать будущее. Займитесь лучше делом, и постарайтесь забыть ваше бесцельное волхвование!

Так кончается рукопись мистера Л-инга.

Во всей этой истории, разумеется, самое замечательное то, что он действительно погиб во время одного из нескольких сот пожаров этим летом в Чикаго.

НОЧЬ ВСЕПРОЩЕНИЯ И МИРА¹

Была Великая Суббота — 1500-я годовщина святотатственного преступления, даровавшего спасение миру.

В Генуе храмы были переполнены народом, собиравшимся чествовать ночь Воскресения Господня. Колокола торжественно звонили, вечерние службы кончались, но оживление еще царило на улицах и в цветущих окрестностях древнего города, над которыми раскинулся темно-синий купол небес, усеянный ярко сиявшими алмазами созвездий.

В маленькой вилле, утонувшей в зелени пальм, олеандров, мирта, лавров и роз, под мраморным портиком на крыльце стоял, прислонившись к резной колонне, человек высокого роста, еще не старый, но с лицом уже изборожденным многими морщинами — следами забот, трудов, подчас тяжких лишений. Он вышел вздохнуть ароматным воздухом, оживить грудь сильными, здоровыми испарениями моря... Взор его блуждает по вольному простору Генуэзского залива, по цветущим берегам и морской зыби, отливающей серебром и фосфором под дрожащими лучами звезд, — но он полон сосредоточенных дум и печали.

Рука его лежит на голове большой черной собаки, пристально устремившей глаза в его лицо. Глаза животного горят, как изумруды, в темноте ночи, в них глубина и сила мысли изумительные. Собака не сводит взоров с лица своего хозяина и, по временам, визжит или рычит, словно хочет ему сообщить что-то.

Человек этот — известный теолог, оратор, доктор, химик, историк и лингвист; другие считали его астрологом, алхимиком, магом и чародеем, повелителем элементов и

¹ Сущность предания отчасти почерпнута из старинной английской брошюры, хранящейся в Британском музее под заглавием: *Chronicles of Cartaphilus, the Wandering Jew*; отчасти из биографий Корнелия Агриппы (Прим. авт.).

духов, равным полубогам древности, подобным Гермесу Трисмегисту по знаниям и могуществу. Это великий ученый Корнелий Агриппа, врач Луизы Савойской, матери Франциска I, летописец Карла V, автор «Тайной философии», почти за четыре столетия ранее Месмера провозглашавший скрытые силы человека над человеком; многократный изгнанник и великий путешественник, едва не погибший на костре за то, что, будучи синдиком в Меце, спас от пламени бедную девушку, приговоренную к сожжению за колдовство. Эта Корнелий Агриппа, а рядом с ним — «*Monsieur*», его заколдованная собака-демон, описанная всеми современниками его, признававшими исключительные особенности их обоих.

Сам ли «Мосъё» был оборотень, домовый в шкуре пса? или его «всезнайство» исходило из магического ошейника, скрытого в его длинной, шелковистой черной шерсти, — ошейника с кабалистическими знаками на внутренней стороне его? — в этом хроники не согласуются но, как бы то ни было, «Мосъё» был советником, учителем и другом Корнелия Агриппы, — и оба это сознавали.

Вот и в эту ночь, величайшую ночь христианского мира, Агриппа вышел, не чая ничего необычного; но черный пес его знал, что должно случиться «нечто» не совсем обыденное... Он отводил пронзительный взгляд свой с хозяина лишь затем, чтобы требовательно, нетерпеливо устремлять его в темную ночь; он многозначительно взвизгивал, словно предупреждая его о чем-то появлении.

Ученый наконец обратил на него внимание.

— В чем дело, дружище? — тихо спросил он. — Ты ждешь кого-то?.. Ты извещаешь меня о прибытии гостя?... Что же? Надо ли нам бояться того, кто придет?

Он сосредоточенно смотрел в глаза собаки, и та ему отвечала не менее глубоким взглядом...

— Нет?.. Вижу, что нет. Тем лучше... Я утомился в житейской борьбе! Я устал скитаться и боюсь, что время мое сочтено... Не великой перемены страшусь я, — нет! Предвечного закона нечего страшиться. Но я боюсь, что не успею выполнить своих задач: не успею передать грядущим

поколениям вверенных мне знаний... Пойдем, товарищ, работать! Ни дело, ни жизнь — не ждут!

И Агриппа вошел в единственную комнату своего одинокого жилища, вместе и лабораторию, и кабинет для чтения, и приемную немногих посетителей, являвшихся к нему за советом, за предсказанием или за составлением гороскопа. Тут было все: скелеты и реторты, фолианты, глобусы и геометрические инструменты; на полках и на столах были расставлены бокалы и фляжки с таинственными амальгамами, с цветистыми эликсирами, солями, кислотами, и рядом с ними — куски разнородных металлов и банки с различными семенами и всевозможными ингредиентами. Висячая лампа в виде ладьи освещала таинственным, синеватым пламенем этот рабочий беспорядок, пучки трав, чучела пресмыкающихся и птиц, спускавшиеся с потолка. А возле огромного стола красноватые отблески углей, тлевших в жаровне, бросали огненные искры и багряный свет на все ближайшие предметы.

Ученый тотчас углубился в свои мысли и сложную работу, позабыв весь мир; а *Monsieur*, не зная забвения, уселся сторожем на пороге и зорко глядел в темноту, поджидая неминуемого гостя.

И вот он появился у входа в сад; вот перешагнул в ограду и прямо направляется в открытый двери жилища... Пес слегка повернул голову к хозяину и предупредил его тихим, ласковым рычанием.

Но Корнелий Агриппа был слишком углублен в себя, чтобы видеть что либо или слышать.

Незнакомец вошел в район света и, молча, стал на пороге...

Странен был его вид!

Удивительные противоположности, невиданные в людях никогда; смесь отличительных свойств, совсем между собою несходных, поражала в наружности этого позднего посетителя. Начиная с его возраста, — все было в нем неопределенно, противоречиво... Он не был сед, едва несколько белых нитей серебрило его черные кудри, но ни бороды, ни усов у него не было. Не было также и глубоких мор-



Незнакомец вошел в район света и, молча, стал на пороге...

щин; глаза порою блистали, как у юноши; но, в общем, в выражении лица и всей его высокой, согбенной фигуры сказывалось такое великое утомление, будто года лежали на нем тяжелым бременем. Его древнееврейская одежда поражала богатством тканей и драгоценностей и, вместе, такую ветхостью, что, казалось, она сейчас распадется лохмотьями и прахом... Но нет! Каким-то чудом его восточные шелки, расшитые золотыми буквами и кабалистическими эмблемами, его пурпуровая мантия, «эфод», накинутый на плечи, его когда-то богатые, но выцветшие сандалии, — держались, не распадаясь, на исхудалом, бескровном теле, казалось, тоже готовом разложиться, если б его сочленений и мускулов не сдерживало нечто сильнейшее материальных атомов и законов физических.

Наконец глухой, сдержанный лай собаки, очень похожий по звуку на вопросы «Ну! Что ж ты?» — заставил Агриппу поднять голову и оглянуться... В ту же минуту, пораженный, он встал и пошел навстречу пришельцу, не зная, что о нем подумать. Он чувствовал нечто весьма близкое к страху, будто видел пред собой не живого человека, а мертвеца с глубоко запечатлевшимся выражением страдания и томительного горя на челе.

— Прости мне, Агриппа, несвоевременное мое посещение. Великая твоя слава дошла и до слуха вечного странника... Желания мои давно к тебе стремились, — но выбора я не имею! — произнес посетитель голосом глухим и бесстрастным, по звуку которого тоже ничего нельзя было определить.

— Сердечно приветствую приход твой, неведомый мне странник, пришедший ко мне с ласковым словом. Боюсь я только, что молва преувеличивает мои заслуги и что я не удовлетворю твоим ожиданиям, — ответил ученый.

— Люди и молва во все века одинаковы: их сфера — крайности. Ты сильно любим и прославляем, но также сильно унижаем и ненавидим... Ты—человек! и человечес-

кой участи, — не миновавшей самого Бога, сошедшего на землю — не избежешь.

— Я это знаю... Мне доказали это долгие годы борьбы с невежеством, с равнодушием, с враждою...

Странник улыбнулся: печальна и горька была его усмешка.

— Ты мне не веришь?

— О, верю! Твои скитания из страны в страну, несправедливость к тебе временных, коронованных покровителей твоих — мне ведомы. Но прости мою невольную улыбку: я столько, столько раз слышал ребяческие жалобы на бремя лет таких, как ты, людей, едва достигших полувека, что мне, — познавшему, что те лишь годы долги, которые еще не наступили, а пережитый век иль миг — едино, — без удивления слушать тебя трудно... Но я боюсь, что злоупотребляю... Прости меня за то, что я так много говорю о себе.

— Так много?.. Напротив, я желал бы слышать более. Я бы просил тебя, неведомый странник, — если бы смел нарушить долг гостеприимства, — сказать мне, кто ты, так легко говорящий о годах и столетиях?.. Я знаю предание об едином, несчастном человеческом создании, которое имело бы право говорить так, как ты. Но я считал его сказкой!

— Неужели ты, мудрец и ученый, не знаешь, что сказка — только забытая или переиначенная действительность?.. Что многое реальное на свете часто гораздо изумительней волшебной сказки?.. Так слушай же, что я тебе поведаю, Агриппа. Я в ранней юности, бывало, глядел на заходившее светило дня, радостно помышляя, что через несколько часов оно вновь выплывет и засияет вечным блеском на тверди небесной, вновь и вновь освещая землю и ею любуюсь. Я, в безумии своем, втайне желал его бессмертия! я завидовал его долголетию... Но ныне я познал, что молодость часто стремится к тому, от чего была бы рада избавиться старость... За тяжкий грех немилосердия дана мне участь бессмертного солнца: изо дня в день, безостановочно кружу я по земле, не находя покоя, и лишь теперь познал, как счастливы те смертные, которым позволено пройти краткий срок до желанного отдыха! Его у меня не бу-

дет!.. Я лишился его по своей вине, в безумии гордыни и жестокосердия!

И удивительный странник поник усталой головою на свои бескровные руки.

Корнелий Агриппа смотрел на него со страхом, с сожалением, в изумленном недоумении не зная, что решить: был ли то безумец, лишенный рассудка, или действительно он видел перед собою воплощение той личности, которую доньше считал мифом, плодом фантазии и суеверия первых христиан...

Пришлец прервал его размышления.

— Позволь присесть мне, сказал он: сегодня ночь искупления всех грешных деяний, ночь всепрощения! Сегодня я имею право отдохнуть.

Ученый поспешил усадить его и предложить ему вина, плодов и хлеба, все еще думая, что перед ним безумный; но странник отказался от пищи; он еле прикоснулся к кубку иссохшими губами и с благодарностью, с надеждой глядя на мудреца, заговорил, вновь оживившись:

— Не смею долго отнимать тебя от твоих занятий и сам не могу более терпеть неизвестности. Скажи мне, о премудрый Корнелий Агриппа, справедливо ли молва называет тебя обладателем волшебного «зеркала прошедшего и будущего»?.. Верно ли то, что всякий, кто с упованием и верой посмотрит в этот магический диск, — увидит в нем отражение прошлой жизни и давно покинувшие землю лица, видеть которых жаждет душа его?

— Кого ж бы ты желал увидеть? — спросил Агриппа. — Чем ближе были узы, соединявшие людей, тем возможнее вызывать их отражения в моем магическом зеркале.

— Ближе той, мирской, давно прошедшей жизни, о коей желал бы я узнать — у меня не было!.. Семьи я не знал, потомства не имел... Все чувства души моей, весь пыл моего молодого когда-то сердца я излил на девушку, которая должна была стать моей, если б не гибельный мой грех!.. Хочу, о! всеми силами бытия хочу увидеть Ревекку, дочь раввина Эбена Эзры!.. Хочу узнать, что случилось с ней? Какую долю она избрала себе после моей невольной измены,

после исчезновения моего из Иерусалима, из пределов Палестины?.. Века веков личных мучений не так пугают меня, как мысль, что она страдала тот краткий срок, который был сужден ей на земле.

Он вновь отчаянно закрыл лицо руками и, с тяжким стоном, продолжал:

— Подумай: какова мне неизвестность, ты, счастливый смертный, не утративший права ждать законного конца земных страданий и тревог. Подумай: мириады живых существ уходят в свое время. Миллионы миллионов боятся смерти, не хотят ее — а умирают, хоть переполнены желанием жизни на земле. Я — ненавижу свою жизнь! Радостно бы принял я жесточайшие истязания, зная, что за ними ждет меня могила, — но мне нет смерти! Нет конца!.. Реки иссыхают, скалы распадаются во прах, величайшие памятники разрушаются,— всему приходит конец. Нет его только Агасферу, злосчастному сыну Мариамны!.. О! дай мне, дай в эту милосердную, всепрощающую ночь утешение — еще единый раз увидеть мою Ревекку! узнать, что с нею случилось! Если возможно, успокоиться в том, что мой грех не пал на ее голову!

Весь дрожа, Корнелий Агриппа ответил ему:

— Да будет по-твоему, мой странный посетитель. Кто ты? Откуда появился? Из геенны или из рая, из видимых или невидимых областей мироздания, — я сделаю все, что могу, чтоб удовлетворить тебя.

И мудрец тотчас же приступил к заклинаниям.

Певучим голосом шепча неведомые слова, Агриппа снял покрывала, скрывавшие от глаз «зеркало прошлых и будущих веков»; окурил его одуряющею «манделлой» — семенами черного растения гробниц, собранного в окрестностях Кедрона, потом ароматическою «тассой», в народе называемую «травой Св. Троицы»; когда рассеялся их дым, он отполировал блестящую, металлическую поверхность этого вогнутого зеркала мягкими тканями и мехами. Потом, все продолжая свои канты, поставил его на место, а между ним и своим посетителем, безмолвно ждавшим окончания

его приготовлений, поместил треножник с пылающими углями.

— Теперь ты сам должен помогать мне, — обратился к нему заклинатель. Сейчас я посыплю на огонь нечто, что подымется белою прозрачною завесой между нами и «зеркалом веков». На этой завесе отразится, что ты желаешь видеть, — как наши тени отражаются, в солнечный день, на стенах; но только эти тени не будут лишены ни жизненной окраски, ни самобытного движения...

— Так я не в зеркале ее увижу, а здесь, перед собой? — спросил тот.

— Да. Сияние зеркала так велико, что ты был бы ослеплен и ничего в нем не увидел бы, если бы не эта туманная завеса. Но помни, странник: что бы ты ни видел — ты должен хранить молчание. Одно твое слово — и все исчезнет!.. Теперь считай «десятки лет», истекшие со времени события, которое ты желаешь видеть... Не ошибись в счете: от этого зависит хронологическая верность картин. Ты можешь проследить всю жизнь человека, который тебя интересует... Считай же годы десятками, — как только свет, подобный солнечному, изойдет из зеркала, и подымется пред нами занавес, — я же буду отсчитывать твои десятки вот этим маленьким жезлом.

И Корнелий посыпал угли каким-то порошком, а сам начал чертить по воздуху кабалистические знаки своим магическим жезлом.

Почти тотчас же, исходя из жаровни, стало разворачиваться нечто вроде белой пелены, доходя почти до потолка и закрыв всю внутреннюю часть комнаты. В то же время зеркало за этой занавесью разгоралось таким ослепительным блеском, будто действительно обращалось в солнце. Лучи его, окрашиваясь, принимая цветы и формы существующих в природе предметов и созданий, ударяли в завесу, — и вот уже начали образовываться на ней картины, лица, пейзажи.

— Пора! — промолвил торжественно маг. И, встав, поднял руки к небу, потом быстро опустил их к земле... Целые снопы искр, белых, как алмазы, посыпались сверху, а сни-

зу брызнул фейерверк цветистых лучей, и весь этот ослепительно яркий свет сосредоточился в зеркале, будто оно его поглотило.

— Считай десятки лет! — приказал Агриппа.

И, став рядом с ним, при каждой цифре, произносимой Агасфером, он повелительно махал жезлом.

Ровно 161 раз жезл поднялся и опустился и с каждым новым взмахом ужас яснее выражался на лице Агриппы... Наконец, усталый, пораженный, он остановился, глядя на своего дивного посетителя...

«Так это правда?... Это он, точно он, — вечный странник, осужденный на бессмертие Агасфер»...

Да, иначе быть не могло... Та красавица, которую он так страстно желал увидеть, уже несколько секунд была перед ними; с каждым взмахом волшебного жезла вырастая из ребенка, делаясь прелестною девушкой, она теперь достигла полного расцвета юности и стояла пред своим 1500-летним женихом в той именно среде и обстановке, окруженная именно теми лицами, которые были при ней в далекий день, о коем мыслил он.

Туманная пелена расцвятилась и ожила точным изображением древнееврейского празднества. На первом плане зеленела роскошная долина, орошенная потоком. Источник, весь в пене, вырывался из группы скал и стремился вниз по цветущему склону, осененному там и сям группами пальм, рощами оливковых и гранатовых кустов. Кое-где в густой траве отдыхали домашние животные; бродила ручная газель, весело приближаясь на зов своей балованной молоденькой хозяйки, единственной дочери раввина Эзры, известного своим богатством. Ревекка полулежала в тени развесистого кедра, любясь играми юношей, девушек и детей, веселившихся ради первого дня опресноков... То было ровно за год до рокового события.

В немом восторге взирал Агасфер на эту картину своей счастливой юности; и по мере того, как мысль его шла вперед, вызывая другие воспоминания, — иные, ближайшие по времени сцены появлялись на волшебной ткани, растянutoй пред ними. Менялись окружавшие ее декорации и

лица, но сама девушка оставалась все та же, меняясь лишь в возрасте и одеждах...

Вот стерлись с первого плана высокие горы, исчезли и живописные кущи сада на берегах Кедрона. Видневшиеся вдали здания большого города приблизились, и пред зрителями прошли не только улицы, здания, площади Иерусалима, но и вся мировая драма, разыгравшаяся 1600 лет назад в Претории, в Синедрионе и, наконец, на Голгофе, — но лишь настолько, насколько участвовала в ней или видела ее та, на которой сосредоточивались помыслы еврея...

Вспоминать он мог только до роковой для него минуты, когда Христос остановился у его порога; когда его жестокое слово, в порыве гордыни обращенное на Спасителя мира, рушилось на его собственную голову; когда, в ответ на оскорбление, он увидел безмолвный упрек, безмолвное горе о нем самом в кротком взгляде Иисуса, омраченном кровью, струившеюся из-под тернового венца; когда он понял всю глубину, весь ужас своего непоправимого преступления, и — побежал!.. Побежал, не оглядываясь на дом свой, на стены родного города, на родные горы и доли; и долго, долго бежал с ужасом и отчаянием в сердце, гонимый призраками ада, пока не свалился без сил, без памяти... Но не для отдыха, не для успокоения: их для него в природе уже не было! Едва опомнившись, он вскочил снова, чувствуя не землю, а лютый огонь под ногами, и снова побежал. И так опять, и опять, и всегда, — поныне и до века, и во веки веков, без отдыха, без срока!

С того дня протекли столетия, и столетия он носил в истерзанной душе своей тот образ, который явился ныне перед ним. Он вызван не языческим кудесником, не губительными силами черной магии, — нет! Он вызван, по мольбе его, христианином, мудрецом, глубоко верующим в Того, Кого он, всеми отверженный ныне, отверг тогда; над Чьим страданием насмеялся, не чая, что не во гневе Агнца, подъявшего грехи человечества, а в Его всепрощающем взгляде найдет свою казнь.

Ныне он чаял Его милости. Одного из Его слуг, коими переполнился мир, он пришел умолять снять с измучен-

ной души его гнет сомнения: дать узреть ему, что случилось с его, против воли брошенной им, невестой?.. Как окончила она свою печальную жизнь?..

Желание его было исполнено.

Вот перед ним три креста на Голгофе, которых он тогда не видел; вот святые женщины, три Марии, возвращаются домой в великой скорби своей, не замечая ничего и ничего, не замечая разрушений землетрясения, сопровождавшего смерть Распятого, не замечая за ними следовавших любопытных, доброжелателей и врагов. Вечный странник жадно следил за ними и с изумлением видел, что в тот вечер опечаленных друзей шло за святыми женщинами более, нежели злорадствовало на пути их врагов. Он искал во множестве народа Ревекку, но не находил ее...

Но вот Пресвятая Матерь Иисуса, опираясь на руку Иоанна, названного сына Своего, приблизилась к Своему бедному жилищу. Многие явные и тайные приверженцы Ее Сына встретили Ее, выбегая к Ней, не скрывая рыданий или робко выглядывая из-за углов, пряча слезы свои «страха ради Иудеев»...

Между первыми, явно сочувствовавшими Ее великому горю, выделилась стройная женская фигура, поджидавшая Богоматерь у порога Ее дома. Когда Она была уже близко, девушка страстным движением открыла лицо свое, орошенное слезами, и повалилась на землю, обнимая ноги Богородицы, как бы моля Ее прощения и помощи, а Она, взрев к небу, опустила руки ей на голову...

Пораженный Агасфер побледнел еще сильнее. Так вот что было потом!.. Ну, — а далее?.. Что же далее?!..

И, послушное его желаниям, зеркало отразило другую картину.

Не бедные кварталы Иерусалима, а величественные здания другого, роскошного, мирового, вечного города появились на туманном занавесе. Он тотчас узнал Рим и, в течение нескольких мгновений, показавшихся ему бесконечно долгими, проследил кровавую трагедию, свершившуюся почти пятнадцать веков назад над дочерью Эбена Эзры и многими ее товарищами по вере. Он отыскал ее сначала

в тех темных подземельях, где ютились гонимые язычниками, — по-видимому, презренные и несчастные, но, в сущности, великие и блаженные — последователи учения Христового. Он проследил все страшные перипетии ее заключения в темнице; потом ее шествие в Колизей, в среде многих других жертв, обреченных на гибель в потеху кровавой толпы. В ту минуту, полную смертельного ужаса, когда выпущенные на арену дикие звери прыгнули на толпу мучеников-христиан, когда разъяренная голодом тигрица бросила на землю его Ревекку, — несчастный, забыв, что перед ним не самое событие, а его тень, с громким криком бросился к страшному видению...

Вмиг все померкло, — все исчезло!

Со стоном, шатаясь и дрожа, вечный странник на секунду беспомощно опустил голову и руки, в то время как Корнелий Агриппа, потрясенный до глубины души вызванной им из мрака древности драмой, спешил закрыть свое волшебное зеркало и широко растворить временно запертую им дверь в сад.

Дым и чад, вызванные волхованиями, рассеялись. Свежесть и благоухание весенней ночи снова проникли в покой; снова в него ворвались тихий лепет листвы, успокоительный, мерный шум морских волн, разбивавшихся о берег; снова упали в него с небесных высот лучи игравших на них звезд.

Агасфер поднял голову. По застывшему лицу его струились слезы.

— Благодарю тебя, великий христианский мудрец! — сказал он. — Ты облегчил мое великое горе, сняв с моей души гнет неизвестности и дав мне несколько блаженных мгновений свиданья... Благодарю тебя!.. Чем вознаградить мне тебя?.. Не примешь ли ты от меня эти несколько ненужных мне драгоценностей, поднятых мной по пути моих бесконечных странствий?

Говоря это, посетитель Агриппы протянул ему кошелек, в котором блистали дорогие камни.

Но ученый отрицательно покачал головой.

— Нет, бедный друг мой, мне не нужны сокровища земные! — сказал он. — Один твой взор на эти небеса с мольбою о прощении к Тому, в Ком были тобой оскорблены страдания всего человечества, — для меня лучшее и самое желанное вознаграждение.

— Аминь! — еле слышно прошептал Агасфер. — Прощай!.. Да воздаст тебе Бог Саваоф за добро и привет, оказанные бесприютному осужденному.

И, медленно повернувшись и поникнув головой, вечный странник вышел и скрылся во мгле торжественной пасхальной ночи милосердия и всепрощения.

ИЗ СТРАН ПОЛЯРНЫХ

(Святочное происшествие)

Ровно год тому назад довольно большое общество собралось провести зимние праздники в деревенском доме, вернее — в старом замке богатого землевладельца в Финляндии. Этот дом или замок был редким остатком капитальных, старинных построек наших прадедов, заботившихся о благосостоянии своих потомков более, чем мы, грешные; да, поистине сказать, имевших на то более достатков и более времени, чем наше разоренное, вечно спешащее поколение...

В замке было много остатков древней роскоши и пратцовского гостеприимства. Мало этого, были замашки средневековых обычаев, основанных на традициях, на суевериях народных, наполовину финских, наполовину русских, занесенных русскими хозяйками, их родством, их многочисленным знакомством с берегов Невы. Готовились и елки, и гаданья, и тройки, и танцы, — всякие общеевропейские и местные и даже чисто всероссийские вспомогательные средства для увеселения праздного, избалованного общества, которое предпочло, на этот раз, «лесную, занесенную снегами трущобу», — как называл свои владенья хозяин дома, — праздничным городским увеселениям. В старом доме имелись и почерневшие от времени портреты «рыцарей и дам» — именитых предков, и необитаемые вышки с готическими окнами, и таинственные аллеи, и темные подвалы, которые легко было переименовать в «подземные ходы», в «мрачные темницы» и населить их привидениями, теньями отшедших героев местных легенд. Вообще, старый дом представлял многое множество удобств для романических ужасов; но в этот раз всем этим прелестям суждено было пропасть втуне, не сослужив службы читателям; они в настоящем рассказе не играют прямой роли, как могли бы играть в святочном происшествии.

Главный герой его, с виду весьма обыденный, прозаический человек... Назовем его... ну, хоть — Эрклер. Да! Доктор Эрклер, профессор медицины, полунемец по отцу, совсем русский по матери и воспитанию; по наружности тяжеловатый, обыкновенный смертный, с которым, однако, случались необыкновенные вещи.

Одну из них, по уверению его, самую необычайную, он рассказал небольшому кружку слушателей, окружавших его в боковой комнате в то время, как в больших залах и гостиных шумное общество, возвратившись с катания, собралось чуть ли не танцевать.

Доктор Эрклер, оказалось, был великий путешественник, по собственному желанию сопутствовавший одному из величайших современных изыскателей в его странствованиях и плаваниях. Не раз погибал с ним вместе: от солнца — под тропиками, от мороза — на полюсах, от голода — всюду. Но, тем не менее, с восторгом вспоминал о своих зимовках в Гренландии и Новой Земле или об австралийских пустынях, где он завтракал супом из кенгуру, а обедал зажаренным филе двуутробок или жирафов; а несколько далее чуть не погиб от жажды во время сорокачасового перехода безводной степи под 60 градусами солнцепека.

— Да, — говорил он, — со мною всяко бывало!.. Вот только по части того, что принято называть *сверхъестественным*, — никогда не случалось!.. Если, впрочем не считать таковым необычайной встречи, о которой сейчас расскажу вам, и... действительно, несколько странных, даже, могу сказать, — *необъяснимых* ее последствий...

Разумеется, поднялся хор требований, чтоб Эрклер рассказывал скорее...

— В 1878 году пришлось нам перезимовать на северо-западном берегу Шпицбергена, — стал он рассказывать. — Пытались мы переплыть оттуда к полюсу летом; да не удалось — льды не пустили! Тогда решили попробовать добраться с помощью салазок и лодок для переплывания трещин, но и это не удалось. Захватила нас темь, — беспробудная полярная ночь; льды приковали пароходы наши в заливе Муссель и остались мы отрезанными на восемь меся-

цев от всего живого мира... Признаюсь, жутко было первое время! Особливо, когда, на первых же порах, поднялись бури и снежные вихри, а в одну ночь ураган разметал множество материалов, привезенных нами для построек, и разогнал, на погибель, сорок штук оленей нашего стада.

Все, кроме главного вожака нашей экспедиции, всегда готового к лютой гибели на пользу науки, очевидно приуныли... Голодная смерть хоть кого обескуражит, а ведь олени, привезенные нами, были нашим главным *plat de resistance* против полярных холодов, требующих усиленного согревания организма питательной пищей. Ну, потом полегчало... Свыклись! Да и привыкать стали к еще более питательной местной пище: моржовому мясу и жиру. Выстроила наша команда из привезенного нами леса домик, на две половины, для нас, т. е. для троих наших профессоров и для меня, и себе самим; деревянные навесы для метеорологических, астрономических и магнитных наблюдений и сарай для уцелевших оленей. И потекли наши однообразные, беспросветные сутки, почти не отделяемые на дню серенькими сумерками... Тоска бывала, порою, страшная!.. Так как из наших трех пароходов двум предположено было вернуться в сентябре и только прежде времени восставшие ледяные стены заставили остаться весь экипаж, то все же надо было соблюдать изнурительную экономию в пище, в топливе, в освещении... Лампы зажигались только для ученых занятий; остальное время мы все пробавлялись Божьим освещением: луною да северными сияниями... И что это были за чудные, несравнимые ни с какими земными огнями, величественные сияния!.. Кольца, стрелы, целые пожары правильно распределенных лучей всех цветов. Особенно великолепны были также лунные ночи в ноябре. Игра света месяца на снегу и ледяных скалах — поразительна!.. Такие бывали волшебные ночи, что глазам не верилось и жаль бывало порой, что нельзя перенести этих небесных фейерверков в страны населенные, где было бы кому ими любоваться.

Вот, раз, в такую-то цветную ночь, — а может, и день, — ведь с конца ноября до половины марта рассветов у нас не

было совсем, мы и не различали, что день, что ночь... Ну, вот, раз смотрим мы, кто наблюдения делает, кто просто любит дивным зрелищем, вдруг в переливах ярких лучей, заливавших алым светом снеговые пустыни, вырисовывается какое-то темное, двигавшееся пятно... Оно росло и, будто распадалось на части по мере приближения к нам. Что за диво!.. Будто стадо зверей или куча каких-то живых созданий брела по снежной поляне... Но звери здесь, как и все — белые... Кто же это?... Люди?!..

Мы не верили глазам!.. Да, кучка людей направлялась к нашему жилищу. Оказалось — более полусотни охотников за моржами под предводительством Матиласа, хорошо известного в Норвегии ветерана-мореходца. Захватило их льдом, как и нас...

— Как вы узнали, что мы здесь? — изумились мы.

— Нас провел старик Иоганн, вот этот самый, — указали нам моржелоны на почтенного беловолосого старца.

Ему бы, по правде, на печке следовало сидеть, да разве лапти плести, а никак не в полярные моря на промысел ходить... Мы так и сказали, дивясь к тому же, откуда узнал он о нашем присутствии и нашей зимовке в этом царстве белых медведей?.. На это Матилас и спутники его улыбнулись и убежденно заявили, что «Иоганн все знает»; что, видно, мы мало в северных окраинах бывали, когда не слышали о старом Иоганне, и дивимся еще чему-нибудь, когда старожилы *на него* указывают...

— Сорок пять лет промышляю я в Ледовитом океане и сколько помню себя, столько знаю и его — и всегда таким же белобородым! — объявил нам вожак моржелонов. — Когда я с отцом, мальчишкой еще в море хаживал, — прибавил он, — батя мне тоже о Иоганне рассказывал. И про своего отца и деда говаривал, что всегда и смолodu другим его не знавали, как *таким же белым*, как родные наши льды... С дедами нашими бывал он на промыслах всезнайкой, — таким же и доныне все промышленники его знают.

— Так что же ему, двести лет, что ли? — засмеялись мы. И приступили некоторые наши молодцы из команды к нему с расспросами: дедушка, сколько тебе годков будет?

— А и сам-де не знаю, молодчики. Живу, — говорит, — пока Бог жить велит. Годов не считаю.

— А откуда ж ты узнал, что у нас здесь зимовка?

— Бог указал, — говорит. — Сам не знаю, откуда узнал я, а знал верно... Вот и привел. На людях легче им будет.

Им-то легче, но наш набольший крепко затруднился гостями. К весне, того гляди, и нашим людям придется норвежским мохом питаться, для оленей припасенным; где ж тут еще столько ртов принимать?.. Однако старый Иоганн, не дожидаясь, чтобы мы свои опасения высказали, попросил только о приюте в сарае на несколько дней...

— Вот, как деньков через десять настанет перемена ветра, льдины-то расступятся. Наши суденышки не то, что ваши махины: найдут себе щелки для выхода. К Христову дню — будут *иные* у своих очагов, на родимых берегах, в Гамерфесте.

— Как так, — иные? — переспросили его.

— Да те, коим Бог присудит.

— А другие-то что же?.. С ними что ж станется?

— А со всеми будет воля Божья! — просто отвечал Иоганн. А старик Матилас почесал голову и вздохнул при этом: «Видно, не всем нам родимый порог суждено переступить»!

Заинтересовали меня очень, признаюсь, эти два вожака отважных промышленников. Да и не меня одного; особенно Иоганн этот. И, как увидите, не даром. Чудный старик оказался! Поистине *все знал*! И многое такое, чего наши ученые профессора не знали, т. е. в чем не совсем уверены были. Они на рассказы Иоганна только рты разевали... Каждый день после работ призывали мы его на свою половину и начинались расспросы и дивования. Всего, что странный человек этот нам рассказывал, не передать и в три дня. Довольно того, что все его рассказы касались далеких, мифических времен; допотопных, доисторических переворотов на земном шаре; давно отживших рас, фаун и флор и не только в его северных, и в тропических странах.

Наш почтенный профессор В.*, зоолог, ботаник и антикварий, то и дело подпрыгивал от изумления, определяя

научные теории и гипотезы, которые узнавал в рассказах этого удивительного старца... Он говорил о погибших материках, о катаклизмах, изменивших лицо земного шара, породы животных и людские расы — так определенно, с такою уверенностью, как будто сам был очевидцем этих переворотов многих и многих тысячелетий. На расспросы наши: как, откуда он все это знает? Иоганн всегда пожимал плечами и, кротко улыбаясь, отвечал, что и сам не знает!.. «Бог-де поведал!.. Знаю, — *видал!*».

Раз только он мне одному сказал удивительные слова:

— Вижу я все, что знаю. Вижу — не оком, а духом!.. Есть у меня высочайшая, *семиоконная* духовная башня... В нее, за облака, *под девяносто седьмые небеса возношусь я и оттуда созерцаю премудрость Божью!*..

Мало того, что старый Иоганн дивил нас своими рассказами, он еще более нас поразил своими сведениями о недугах человеческих, о тайных силах магнетизма, ясновидения и тому подобных, — сорок лет тому назад почти неведомых науке, — свойствах духа человеческого. Дня за три до его ухода от нас, наш товарищ химик К** сильно заболел удушьем. Он прежде страдал астмой, но припадки несколько лет не возобновлялись и он считал себя излеченным. Но этот приступ был так силен, что я считал его погибшим, когда в комнату неожиданно вошел Иоганн.

Он подошел без зова, как власть имеющий, и к величайшему удивлению нашему начал делать пассы над больным, сосредоточенно устремив взгляд на лицо его. Мы невольно отошли, наблюдая... Не прошло и нескольких минут, как К** стал свободнее дышать, перестал метаться и скоро окончательно успокоился, глубоко заснув под магнетическими пассами старика!

На другой и на третий день Иоганн его магнетизировал снова и сказал, что он будет здоров...

— Надолго ли это? — спросил тот.

— Думаю, что навсегда... По крайней мере, обещаю, что припадки не возобновятся *при моей жизни!* — было ответом.



*Он подошел без зова, как власть имеющий, и начал делать
пассы над больным.*

Все мы переглянулись... Профессор химии был человек под сорок всего, а моржелов годился ему в деды. Он будто угадал наши мысли.

— Дня же своего и часа не ведает никто! В нем волен Бог! — сказал он. — Но... я имею право рассчитывать еще на довольно продолжительную жизнь.

— Неужели?! — изумились мы. — Но почему же?

— Мне так сказано... Я еще *не окончил своего дела*.

— Тебе это сказано — там? — начал было необдуманно я, но не успел договорить, как собирался: «*в твоей семи-оконной духовной башне*», — я не успел выдать этих слов его, мне одному доверенных, и сам доньше не знаю, почему?.. Что-то сжало мне горло и язык не повернулся, словно какая-то сила окаменила его...

В ту же секунду старик взглянул на меня укоризненно и вышел.

Я догнал его на пороге нашего жилища, чувствуя, что обязан просить у него прощения. Ночь была дивная!.. В фосфорических переливах небесных сияний льды горели бриллиантовыми искрами и сияли самоцветными радугами.

— Ты, дедушка, прости меня, — начал было я, но он перервал меня.

— Бог простит, — говорит. — Не ты, а я виноват, что неосмотрительно разбалтываю то, о чем говорить не приходится. Да ничего! Говори себе, рассказывай о моей башне кому хочешь, — неожиданно прибавил он, словно угадав мое намерение спросить его, — только не теперь! Не при мне, чтобы не узнали люди ваши и все... Тогда ведь покоя не дадут мне!

— Не буду! Не буду! — поспешил я его успокоить. — Только скажи ты мне, любезный друг, кто тебя научил пользоваться той силой, которой ты вылечил нашего товарища?

Иоганн посмотрел на меня долгим, задумчивым взглядом и сначала было отвечал своим всегдашним ответом:

— Бог, де, выучил...

Однако, на усиленные просьбы мои рассказать, как он открыл свои магнетические способности, он объяснил, что

никто ему на них не указывал, а признал он их сам в себе исподволь, понемногу.

— Зачем же и хожу я на промыслы со своими? — предложил он мне вопрос. — Неужели, думаешь ты, за наживой?.. Нет, милый человек, — барышей их мне не нужно! Да я и прав на них не имею, не помогая им в их трудных работах... Опасностей промысла я не боюсь, — опять угадал он мою мысль, — нет! не опасности, а греха! Никогда не обаграл я рук в чьей-либо крови. Никогда не касались уста мои животной пищи. Мне незачем лишать жизни тварей Божьих. Я скорблю и за других-то, что лютая нужда заставляет людей промыслять кровью, — лишать жизни творений Господних... Хожу я на промыслы и буду ходить, пока в силах, для того, чтобы помогать и врачевать. Много раз приходилось мне пользоваться Богом данными мне способностями: облегчать недуги товарищей, выводить их из опасности... Вот, как теперь, вывел я из под метелицы и довел до вашего жилья всю партию. А то ведь уж у нас нечем было огоньку развести, да и перекусить им, беднягам, почти что ничего не оставалось... Вас мы не объели: еще наши же люди вам промыслили запасов, а сами все же от вихрей да стужы укрылись.

А моржеловы, точно, за эти дни набили нам и моржей, и медведей, и рыбы наловили большой запас.

— Вот через три дня уйдем к Серому Мысу, — закончил старик свою речь. — Надо попытаться доставить мою партию по домам... тех, кому суждено уцелеть!..

— А не всем суждено это? — спросил я.

— Не всем! — покачал головой Иоганн. — Я боюсь, что вернется наша ватага без головы...

— Как?.. Матилас? — спросил я, изумившись. — И это ты знаешь, старина?

— Эх, — говорит, — барин! Мало, что я знаю! Больше на горе свое, чем на радость... Редко, — говорит, — кому мне приходилось говорить о знаниях своих, как тебе. *А тебе и таким, как ты — говорить мне приказано...* Такие, как я, больше должны молчать; но иногда тем, кто уши и глаза не закрывают от премудрости Создателя всех сил, мы долж-

ны открываться... Пусть истина пробивается в мир хоть редкими, окольными путями, пока не наступит ей время прорваться с большей, неодолимой силой и ярче озарить свет, чем наши полярные ночи освещают эти Божьи, чудные огни! — указал он на северное сияние.

А я признаюсь, смотрел на него в изумлении и не совсем доверяя. Я нарочно переспросил: «такие-де, как ты»!..

— Но разве ж ты, старина, точно какой-нибудь *особенный* человек?..

— Да, — говорит. — По нынешним временам я — *особенный*! Таких, как мы, теперь мало... В будущем земном круге нас опять станет больше, а ныне осталось очень мало...

— Но кто же ты такой? — не выдержал я. — Колдун, что ли?

Старик усмехнулся.

— Колдун, бессмысленное слово! — сказал он. — По крайней мере то, что люди понимают под этим названием, ничего не объясняет, а напротив, затемняет людские понятия... Я один из не утративших *третьего ока*!.. Ока духовного, которым щедрее были одарены пра-праотцы наши; которое с течением веков разовьется снова в далеких праправнуках наших, когда люди перестанут бороться с истиной, с Силой сил! И чем скорее сдадутся люди плоти, люди греха, на убеждения всеисильной истины; чем скорее восторжествует воля немногих людей духа над упорством людей плоти, — тем скорее человечество поймет свои ошибки! Тем полнее восторжествует свет истины над одолевшими его ныне грубыми силами праха и тлена!..

— Вот смысл удивительных речей старика норвежца, сказанных им мне в ту величавую ночь на ледяных берегах Шпицбергена, которую я никогда не забуду! — заключил доктор Эрклер свой рассказ. — Да если б и хотел я забыть старца Иоганна, он бы мне этого не позволил!

Мы, его внимательные, хотя несколько скептические слушатели, изумились и снова насторожили внимание.

— Как же так, не позволил?.. Чем?.. Какою силой?

Некоторые из нас уже составили было отдельные кружки, рассуждая о странном рассказе доктора; большинство, разумеется, отнеслось к нему скептически. В особенности критически к нему отнеслись двое молодых людей, студент из Дерпта с довольно окладистой бородой и совсем безбородый врач, только что сорвавшийся со скамейки. Теперь, услышав это последнее заявление своего ученого собрата, юный доктор умолк, покосившись на него поверх очков; за ним его собеседник и почти все уставились на Эрклера.

— Как и чем Иоганн не позволил вам о себе забывать?

Почтенный доктор помолчал; потом окинул всех таким взглядом, будто мысленно вопрошал нас: «Да полно! говорить ли уж вам?..» Наконец, как бы решившись, скороговоркой отрезал:

— Да тем, что каждый раз, как мне случалось о нем рассказывать, — поминать его удивительные знания, его загадочные силы, — непременно случалось что-либо... странное! — совершенно неожиданное и... необъяснимое!

Эти слова породили неловкое молчание...

Наконец, одна старушка, тетка хозяина дома, спросила:

— Что же именно?.. Что-либо дурное?.. Неприятное?

— Да, да!.. И с кем?.. С вами, доктор? — спросил высокий, весело глядевший на всех господин, — местный мировой судья. — Или не вы один страдаете от дружеских напоминаний вашего колдуна из-под северного полюса, а и мы все не вне опасности?

— Не беспокойтесь! — отвечал профессор, улыбаясь на всех его окружавших. — Опасного нет ничего *в визитных карточках Иоганна*... Чаше бывает смешное...

— Неужели совместно с достоинством такого мага злоупотреблять своей силой? Подшучивать ею над безобидными смертными, как какому-нибудь проказнику из царства гномов? — иронически спросил студент.

— Это недостойно современника великих праотцов и патриархов! — поддержал его юный эскулап, сморщив под очками нос в насмешливую гримасу.

— Почему же! Да воздается каждому по делам его и заслугам! — сказала тетушка Амалия Францевна. — Иной шут гороховый и не стоит серьезного урока...

— А проучить его необходимо! — закончил Эрклер, добродушно улыбаясь. — Нет, серьезно, — продолжал он, — мне приходилось не раз вспоминать моего знакомого с Шпицбергена. В особенности наш последний разговор...

— При свете северного сиянья? — прервали доктора.

— Нет, — возразил он, — в серенькую ночь, которая, собственно, была утром... Ровно через три дня, как он и предсказывал, по излечении им нашего товарища, Иоганн отплыл со своими моржеловами, пользуясь переменной ветра, разогнавшего льдины. Прощаясь, он сказал мне: «Если я вам когда-нибудь понадобится, подумайте обо мне! *Пожелайте сильно*, всей вашей волей, всем разумом»...

— Разумом?!.. — насмешливо прервал юный эскулап.

— «Всей силой духа вашего», — не смущаясь, продолжал профессор медицины, — «и я постараюсь быть вам полезным; если придется даже увидеться с вами»...

— Представ среди полярных сумраков, как Мефистофель? — широко, но не без претензии улыбаясь, вставил бородастый студент.

— «Если придется, — с вами увидеться», — повторил Эрклер. — «Но, без особой нужды, не призывайте меня», — говорил!

— И что же? Вы призывали?.. Вы его видели? — опять перебили доктора те же неутомимые слушатели.

— Нет! — сухо отозвался рассказчик, — не призывал именно потому, что не было крайней нужды в его помощи. Но совершенно уверен, что если призову, то увижу.

— Совершенно уверены?! Herr Professor, вы нами забавляетесь?

— Извините! Я только рассказываю факт: я верю в необычайные силы и способности Иоганна, во-первых, потому, что имею безумие считать наши узкие знания, вашу миниатюрную, близорукую науку весьма несостоятельными вспомогательными средствами к постижению всех дивных, могущественных сил, сокрытых в человечестве и в

окружающей нас природе; а во-вторых, потому, что он не раз давал мне, без всякого с моей стороны призыва, удостоверение в том, что не прервал со мной духовных сношений...

Мы переглянулись, изумленные, а студент и его соумышленник весьма неучтиво рассмеялись.

— Позвольте мне окончить мой рассказ и я перестану смешить вас и злоупотреблять вашим терпением, — серьезно отнесся к ним доктор Эрклер. И продолжал, обернувшись к другим слушателям:

— Я должен еще сознаться вам, господа, что я верил бы в необыкновенные способности старика Иоганна и в существование подобных ему удивительных субъектов, — хотя сам не встречал других таких, как он, — по собственному убеждению возможности их бытия... Но, в этом случае, я *даже не имел бы права ему лично не верить*, если бы, вообще, и не допускал таких ненормальных явлений, потому именно, что все сказанное им сбылось. Вы знаете К**, нашего уважаемого профессора химии, господа? Спросите его: радикально ли он излечен от астмы? Он скажет вам, что, несмотря на его последующие путешествия к северу и долгие пребывания в областях вечных льдов, не только припадки удушья его не повторялись, но он даже никогда не простужался, стал здоровее, чем когда-либо... Потом, бедный вожак моржеловов, норвежец Матилас, точно более не видал родного крова: он, в числе пятнадцати человек, — из пятидесяти восьми отважных охотников, которым мы оказывали гостеприимство в заливе Муссель, — задержанные временно льдами на Сером мысе, погибли на охоте за белыми медведями. Возвращаясь весной в Европу, мы видели его могильный камень на пустынном берегу... Наконец, те знаменательные слова, которые дед Иоганн сказал мне на прощание, пред исчезновением их утлой флотилии между трещинами ледяных скал, в узких проливах, образованных временно разошедшимися льдинами, — должны были бы каждого убедить в необъяснимом могуществе его, потому что он не раз выполнял их косвенное обещание...

— А какие же это были слова? — спросила старушка Амалия Францевна, жадно уставившись на доктора.

— Вот они, — исключительно к ней обратился профессор, — он сказал: «*Я, может быть, вам буду иногда напоминать о себе*». Иоганн сказал это мне, склонившись с лодки, которую уже отталкивали от берега. За ним отплыли и остальные... Я стоял и глядел им вслед, пока высокая фигура старика, стоявшего у руля, кормчим передовой лодки, не скрылась в сумерках; пока заиндевелая серебряная борода его не слилась в белесоватом тумане полярной, лунной ночи — я не мог от него глаз отвести!..

— И больше вы его не видали?

— Не видал. Но... иногда...

— Что такое?... Что — *иногда*?

— Иногда мне чудилось, что я... чувствую его близость, — его присутствие!

И доктор Эрклер весьма красноречиво пожимался, неопределенно осматриваясь вокруг...

Тут произошло нечто неожиданное.

В комнату вбежали молодые хозяева дома, необыкновенно оживленно сзывая всех:

— Что вы сюда забрались! Идите скорей! Скорее — смотрите, какое необыкновенное явление на небе!.. Говорят, что это отражение северного сиянья... Чудо! Чудо как красиво!.. Все небо в алом зареве и в лучах. Пойдемте скорей!

Все мы бросились вслед за убежавшей молодежью и действительно увидели в окнах дальней комнаты великолепный отблеск полярного сиянья. Хозяева распорядились потушить огни в северной стороне дома, на вышке-фонарике и те, кто не поленился туда взойти, любовались вдвойне величественным зрелищем. Несколько слушателей доктора, в том числе и я, взошли наверх и вновь прослушали целую лекцию его о северных сияниях. Оканчивая описание одного из таких явлений, виденных им в арктических странах, он, указывая нам на потухавший алый свет, сам взглянул в окно и, вдруг вздрогнув, умолк и припал к стеклам...

Стоя рядом, я невольно подалась к окошку, следуя по направлению его взгляда, и увидала среди широкой, пустынной площадки пред парком, занесенным глубоким снегом, очень высокого, плечистого человека. Он шел от дома, словно только что вышел из него и, не спеша, направлялся в срединную аллею... Дойдя до предела площадки, ярко освещенной луною, он остановился, обернулся лицом к нам и взглянул на окно...

Мы увидали лицо очень благообразное, но совершенно обыкновенное. Черты седого старика, обрамленные меховой шапкой и длинной белой бородою; но я его видала лишь мельком, отвлеченная необыкновенным состоянием доктора, который весь дрожал и вдруг, сорвавшись с места, бросился вниз с лестницы в ту именно минуту, когда один из молодых хозяев, стоявший возле нас, удивленно произнес:

— Кто этот старик? И куда он идет?.. Парк теперь закрыт... Откуда взялся он? Я никогда его не видел!

Немудрено... Вероятно, не один наш молодой хозяин не видал его ни прежде, ни после... Старика не нашел и выбежавший за ним на мороз, без шапки, доктор Эрклер. И кого мы не расспрашивали о нем впоследствии, — гостей, хозяев и дворню, — никто *такого старика* не видел и *никто не знал* его, — кроме нашего рассказчика, профессора медицины... Он-то знал! Да только не пожелал ни называть его, ни сознаться в том, что узнал старого знакомого...

Тем не менее для нас из его внезапной задумчивости было ясно, что если белобородый старик, мелькнувший нам в парке, и не был сам Иоганн, то за него был он принят профессором.

Однако появлением неизвестного старца не ограничились неожиданные события этого святочного вечера. Среди возобновившихся забав и оживления кто-то вдруг вспомнил отсутствовавших друзей, — юного медика и зрелого студента.

Где они?.. Никто не знал. Никто не видел их с тех пор, как все мы двинулись смотреть небесное явление, отблеск далекого полярного сияния. Все думали, что и они были с

нами... Но нет! По строгом исследовании оказывалось, что они в жару рассуждений о рассказе Эрклера замедлили в той дальней комнате и не пошли вместе с нами, а остались, чтобы договориться.

Их бросились искать. Хозяева разослали прислугу по всему дому; потом по службам, наконец — по саду и парку; но нигде ни следа медика, ни дерптского студента!

Наконец, на самом дальнем южном конце громадного дома послышались откуда-то сверху крики... Жалобные призывы на помощь.

Все гурьбою устремились туда, по коридорам, по лестницам, по крутым, витым ступенькам, на противоположную тому фонарику, откуда мы смотрели на сияние, необитаемую, еще более высокую вышку, служившую складом для всякого ненужного хлама. Из-за ее запертых на крючок узеньких дверей неслись отчаянные крики и стук; в них беспощадно колотили до опухоли избитыми кулаками расвирепевшие друзья.

— Сейчас! Сейчас!.. Слышим, идем! — кричали издали заключенным старавшиеся столкнуть запоры их тюрьмы — заржавевший в петле крючок, долго не поддававшийся стараниям.

И вот они оба, — врач и студиозус — предстали наконец из холодной, пыльной, темной кладовушки в самом печальном виде: испачканные, промерзлые, обозленные.

— Как вы сюда попали?.. Как это могло случиться?.. Кто вас здесь запер?.

— Разве мы знаем?.. Черт или какой-то негодяй! — сердито закричал медик.

— Мы вышли вслед за вами, но в зале нам сказали, что все пошли наверх, — объяснил студент. — Тут в коридоре какой-то человек, старик, — мы приняли его за служителя, — очень учтиво предложил нас проводить и пошел сюда со свечой в руке. Мы за ним...

— Да! Черт его побери! — перебил медик, весь трясясь от злости. — Мы за ним! Он, дойдя до двери, учтиво пропустил нас вперед и бац — крючок в петле!..

— А мы — в темной западне! — закончил товарищ.

— О, бедные! И просидели во тьме и холоде три битых часа? Но кто же, — *кто* мог сыграть с вами такую злую шутку?! — негодовали хозяева и гости.

Да! в том-то и была задача: *кто это сделал?*..

Как ни разыскивали виноватого, как ни хлопотали узнать его смущенные хозяева, — его не оказалось!

— Еще один *странный случай* к вашим воспоминаниям о старце Иоганне? — коварно шепнула Эрклеру старая тетюшка. — Еще одна его «визитная карточка?»..

Но тот только весело глянул на нее, сдерживая улыбку, но ничего не отвечал.

Комментарии

Вера Петровна Желиховская (урожденная Ган) родилась в 1835 г.; местом ее рождения в различных источниках указываются Екатеринослав и Одесса. Ее отцом был кадровый офицер конной артиллерии, позднее гродненский почтмейстер П. А. Ган (1798-1873), матерью – рано умершая писательница Е. А. Ган (1814-1842). Старшая сестра – всемирно известная оккультистка, писательница, основательница Теософского общества Е. П. Блаватская (1831-1891).

После смерти матери Желиховская жила у и воспитывалась у деда, саратовского губернатора А. М. Фадеева. В 1854 г. вышла замуж за помещика Н. Н. Яхонтова; овдовев через четыре года, переехала с двумя детьми в Тифлис, где жили ее дед и дядя, в 1862 г. вышла замуж за директора классической гимназии, а затем помощника попечителя Кавказского учебного округа, В. И. Желиховского (в этом браке родились четверо детей). После смерти второго мужа в 1880 г. Желиховская переехала в Одессу, затем в Петербург. Умерла в 1896 г.

По воспоминаниям дочери (Н. В. Желиховской), писать начала сперва для развлечения детей. Печатный дебют Желиховской состоялся в 1872 г.; с 1878 г. публикуются рассказы. С тех пор писательница сотрудничала в многочисленных газетах и журналах, в том числе детских и семейного чтения («Игрушечка», «Родник», «Детское слово», «Семья и школа», «Задушевное чтение», «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозрение», «Природа и люди», «Кавказ», «Тифлисский листок», «Русский вестник», «Русское обозрение», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Художник» и т.д.).

Из произведений Желиховской наиболее известны рассказы и повести для детей – «Как я была маленькой» (1891), «Мое отрочество» (1893), «Князь Илико» (1894), «Кавказские рассказы» (1895) и др. Ее перу принадлежат также «взрослые» повести и романы: «Болезнь времени» (1886), «Ложь» (1880), «В житейском омуте» (1895), «Русские египтяне» (1895), «Вырождение» (1897) и др., ряд мелодраматических пьес, патриотические книги для народного чтения, мемуарные и этнографические очерки, заметки о путешествиях по Англии и славянским странам и т.д.

Согласно воспоминаниям дочери, необходимость содержать и воспитывать детей заставляла Желиховскую работать на износ: «Вера Петровна писала по целым дням, буквально не разгибая спины. Ей приходилось по необходимости работать по заказу, не разбирая материала и разбрасывая свои сочинения по разным газетам и журналам. Писала она на скорую руку и романы, и повести, и рассказы для детей, и фельетоны, и корреспонденции, отлично сознавая, что она таким образом истощает и раздробляет свое большое дарование, мучась своею чуткою душой художницей этим требованием, но вместе с тем поневоле покоряясь настоятельным требованиям жестокой житейской необходимости» (Николаев Р. [Желиховская Н.]. Памяти В. П. Желиховской // Исторический вестник. 1896. № 7).



В. П. Желиховская (справа) и Е. П. Блаватская

В творческом наследии Желиховской выделяется довольно обширный ряд статей и мемуарных текстов, посвященных теософии, паранормальным явлениям и личности Е. П. Блаватской; ее первые статьи о теософии появились на страницах «Тифлисского вестника» еще в 1877 г. Наиболее значительные из этой группы произведений – биографическо-мемуарные очерки «Елена Петровна Блаватская» (1891) и «Радда-Бай: Правда о Блаватской» (1893), книга «Е. П. Блаватская и современный жрец истины» (1893), очерк «Необъяснимое и необъясненное (Из личных и семейных воспоминаний)» (1894-95). К ним также тесно примыкают фантастические или фантастическо-окультиные произведения Жели-

ховской: повесть или, по определению автора, «большой рассказ» «В среде наваждений» (1891), повесть «Майя» (1893), некоторые рассказы из книги «Фантастические рассказы» (1896) и др.

Однако, несмотря на многолетнюю популяризацию теософии и ярую защиту Блаватской, отношения сестер были, очевидно, далеко не безоблачными (что дало повод некоторым исследователям даже говорить о «подсознательной зависти» со стороны Желиховской). В отношении же теософии Желиховская, видимо, испытывала определенную двойственность, стремясь примирить теософские доктрины и христианское учение. По словам дочери, «мнение некоторых людей, будто Вера Петровна разделяла вполне теософические верования и убеждения своей сестры, Елены Петровны Блаватской, положительно ошибочно. Как женщина, склонная по своей натуре ко всему загадочному, чудесному, она чрезвычайно интересовалась всеми необъясненными явлениями природы и умственным движением, делами и журналами теософов. Но, во многом не сходясь с ними, она официально никогда не принадлежала к теософическому обществу, всю свою жизнь соблюдая строго обряды и постановления православной церкви, которой она принадлежала всей душой. Близким ее приходилось часто слышать от нее, что теософия в своем чистом, нравственном учении очень близка к христианству, но к несчастью люди всех религий и всех философских учений всегда сумеют затемнить и запачкать основную идею и сущность и святость истины. “Я бы хотела быть теософкой и православной христианкой, отбросив от своей религии и теософии все людское, оставив только суть их, но я-то же человек мелкий, и мне трудно разобраться во всем этом!” – говорила она» (*Ростиславов Н., op. cit.*).

Включенные в книгу произведения публикуются по первоизданиям с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации, а также очевидных опечаток. В рассказе «Из стран полярных» набранный в оригинале разрядкой текст дан курсивом. В комментариях использованы материалы А. Д. Тюрикова и Н. Ф. Левина. В оформлении обложки использован портрет матери В. П. Желиховской, писательницы Е. А. Ган.

Майя

Впервые: Сб. «Нивы»: Ежемес. беспл. прил. журн. «Нивы». 1893. №№ 6-7.

Повесть, написанная в разгар полемики с близким в свое время к семье Желиховской романистом Вс. С. Соловьевым (1849-1903), автором ряда разоблачительных публикаций о Е. П. Блаватской и кн. «Современная жрица Изида» (1893), несомненно носит автобиографический характер. В образе главной героини с ее увлечением музыкой, «снами», видениями и т. п. легко угадывается как юная Е. П. Блаватская, так и В. П. Желиховская («медиумические» проявления и сверхчувственное восприятие были не чужды обеим сестрам). Не исключено, что в облике повзрослевшей, окруженной детьми Майи и частично Софьи Орнаевой Желиховская описывала саму себя; ср. ее написанное незадолго до смерти письмо: «Не знаю, всем ли так, но чем более я стараюсь, чем далее прохожу темный, скорбный путь, называемый жизнью, тем несомненнее и крепче во мне надежда, тем ярче разгорается за тьмою этой жизни звезда будущего существования, в соединении со всеми, кого мы любили и кто нас любил и за кого мы обоюдно здесь страдали и мучились. Мы будем утешены, это по-моему так верно, что если бы не несовершенства и слабости наши, то даже и здесь страдания должны были бы терять всякую силу над нами. Да они и утрачивали ее над людьми, духовно совершенными, над святыми. Ну, мы не святые, а слабые люди, оттого и мучим себя и других, больше, чем стоят того земные болезни и несчастья; но все же, домучившись, достигнем утешения и счастья и понимания всего. Вот в этом конце и заключается, по-моему, весь смысл жизни» (*Ростиславов Н., op. cit.*). В остальном – это теософский Bildungsroman (роман воспитания) с «Белыми братьями», эквивалентными махатмам или Учителям теософии, кармой и т. п.

С. 6. *Майя* – Имя героини связано с индийской религиозно-философской концепцией *майи* (иллюзии, видимости) как иллюзорности всего сущего.

С. 7. *Юмом* – Речь идет о Даниэле Д. Юме или Хьюме (Hume, 1833-1886), шотландском медиуме, спиритуалисте, демонстрировав-

шем способности к ясновидению и левитации, одном из самых знаменитых медиумов викторианской эпохи. Неоднократно подозревался в шарлатанстве, был широко известен в России, дважды женился на русских аристократках (ради второго брака принял православие).

С. 19. *Animus mundi* – мировой, вселенский дух (лат.). Вероятно, имелось в виду более часто встречающееся понятие *Anima mundi* (Мировая душа).

С. 23. *Аказа* – также Акаша, заимствованное из индийских религий понятие, в европейском оккультизме XIX-нач. XX вв. тонкая духовная субстанция, заполняющая собой пространство, у Блаватской эквивалент «астрального света» и Вселенской души, мыслительная, всепорождающая основа Вселенной (см. с. 29).

С. 27. *Велиар* – также Велиал, Белиал, библейский обольститель, позднее демон (2 Кор. 6:15); по некоторым демонологическим представлениям, отличается привлекательностью и лживым красноречием.

С. 29. ...*prima materia* – первичная материя (лат.).

С. 36. *Place aux dames* – Здесь: «Дамы первые» (фр.).

С. 51. «Добрый человек... злые» – Слегка искаж. Лк. 6:45: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое».

С. 56. «Юг» – Точнее «юга», эпоха или эра в космологии индуизма.

С. 58. *N'est-ce pas, chère mademoiselle Marie?* – Не так ли, дорогая мадмуазель Мари? (фр.).

С. 58. *Je ne demande pas mieux* – Здесь: Лучшего и не нужно (фр.).

С. 59. ...«*de ses deux anciens*» – двух ее бывших (фр.).

60. ...*et bien d'autres saisons, à discretion illimitée* – и прочие времена года, по неограниченному усмотрению (фр.)

С. 60. ...*par dessus le marché* – в дополнение, сверх уговора (фр.).

С. 63. *Эгерией... Нумой Помпилием* – Эгерия – в древнеримской мифологии нимфа-прорицательница, жена, наставница и советчица царя Нумы Помпилия.

С. 63. ...*Гихтеля* – Имеется в виду Иоганн Георг Гихтель (1638-1710), немецкий религиозный философ, богослов, мистик-визионер.

С. 65. ...*grande tante* – прабабушка (фр.).

С. 66. ...*Симону Магу* – Симон Маг, он же Симон Волхв – евангельский религиозный деятель I в. н. э., по мнению ряда раннехристианских авторов – зачинатель всех ересей.

С. 79. *Qu'à cela ne tienne* – Это не проблема (фр.).

С. 93. *Azzèle! ... chien* – Арзель, сюда! Арзель! Давай! Иди сюда, моя хорошая собачка (фр.).

С. 104. «*Не бойтесь... могущих*» – Искаж. Мф. 28:10: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

С. 110. ...*quand même* – вопреки всему (фр.).

С. 115. ...*бланк* – Здесь от фр. *blanc* (пробел, пустое пятно).

С. 120. ...*boute-en-train* – заводила, душа общества (фр.).

Видение в кристалле

Впервые: *Новое время*. 1893. № 6404, 25 декабря.

В письме к редактору-издателю газеты А. С. Суворину Желиховская жаловалась, что рассказ был «безжалостно искажен: выпущена и причина страха, и бегство Лиринга, и его желание знать, как он умрет, и нежелание Гуру, чтоб он узнавал свое будущее, а

потому его старание отвлечь мысли его красивыми видениями» (РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1399).

С. 133. ...*два тома русских сказаний Сахарова* – Речь идет о кн. русского этнографа-фольклориста, археолога И. П. Сахарова (1807-1863) «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (1836-1837). По мнению позднейших ученых, Сахаров искажал либо сфальсифицировал ряд опубликованных им в различных трудах «народных» текстов.

С. 134. ...*мировое столпотворение нынешнего года* – Имеется в виду Всемирная (Колумбова) выставка в Чикаго, проходившая 1 мая – 30 октября 1893 г.

С. 134. ...*бенглоу* – Т. е. бунгало.

С. 135. ...*Питри* – «отцы» (санскр.), в индийской культуре духи умерших предков; по Е. П. Блаватской, предки или духи человеческих рас.

С. 137. ...*a vol d'oiseau* – С птичьего полета (фр.).

С. 140. ...*бхуты* – В индуистской мифологии демонические существа, оборотни из свиты Шивы.

Ночь всепрощения и мира

Публикуется по кн. *Фантастические рассказы* (СПб., 1896). Илл. С. Соломко.

С. 141. ...*Chronicles of Cartaphilus* – Очевидно, имеется в виду кн. американского юриста Д. Хоффмана (1784-1854) *Chronicles selected from the Original of Cartaphilus, the Wandering Jew: Embracing a period of nearly XIX centuries* (London, 1853-54, vols. I-III).

С. 142. ...«*Тайной философии*» – *De Occulta Philosophia libri III* (1531-33), сочинение германского ученого, теолога и оккультиста Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского (1486-1535).

С. 142. ...*Месмера* – Франц Фридрих Антон Месмер (1734-1815) – немецкий врач, создатель теории «животного магнетизма» (месмеризма).

С. 145. ...«*эфод*» – Род богато украшенной верхней одежды, в Библии обычно – часть облачения первосвященника.

С. 147. ...*Кедрона* – Кедрон – библейская долина и пересыхающий летом поток, восточная граница древнего Иерусалима, по определенным представлениям место, где начнется воскресение мертвых и суд над ними.

С. 150. ...*первого дня опресноков* – Т. е. праздника иудейской Пасхи; опресноки – старослав. обозначение пресного хлеба (мацы).

Из стран полярных

Публикуется по кн. *Фантастические рассказы* (СПб., 1896). Илл. С. Соломко.

Место действия рассказа («замок» в Финляндии) и другие детали связаны с повестью «Майя». В 1890 г. Е. П. Блаватская собиралась опубликовать перевод данного рассказа в своем журнале *Lucifer*; незаконченный перевод начала рассказа, найденный в архиве Блаватской, до сих пор считается ее оригинальным произведением.

С. 160. ...*семиоконная духовная башня* – Ср. описание фантастической башни в повести «Майя» (с. 49, 52-3 наст. изд.).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.